

184 (2Рос-Рус)
Н 84

КТОСИЛОВ

СЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ



ОГИЗ - 1937

184 (2Рос-Рус) Н 84

Варфоломее
Константиновичу

Беробородову
от

Собратель
Наследия

Писателя Путешественника

Носилова

Константина

Дмитриевичу

1858-1923 гг

104. Охоткина Мария Дмитриевна
Екатеринбург. 17.9.98г

За стилистическую уверенность
и стилистическое поведение
гг. - гг. И. К. „А“ среди. н.к. А. 96
Муромовой Меле



17/5-382



К. Д. НОСИЛОВ

СЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ

4826

В ДАР

Ханты-Мансийская
окружная библиотека

КО

19 37

- 54728 -

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСК

84(2 ГбсзРч) 6
Н. 30Р₂

Н 84

т 82

*В сборник входят лучшие рас-
сказы дореволюционного быто-
писателя Уральского Севера
Константина Дмитриевича
Носилова.*

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ НОСИЛОВ

Носилов Константин Дмитриевич родился 29 октября 1858 года в селе Маслянском, неподалеку от города Шадринска.

Еще в детстве он проявлял большой интерес к исследованию природы и к путешествиям и, будучи юношей, твердо решил стать путешественником.

В 90-х годах он поехал за границу и в лучших университетах Франции слушал лекции по естественно-географическим наукам. Учился он также у знаменитого географа и путешественника Элизе Реклю.

С 1887 года Носилов начал исследование нашего полярного севера. Он поехал на суровый безлюдный остров — на Новую Землю и там пробыл три года. На Новой Земле он основал две колонии ненцев* и построил домик-станцию, где вел регулярные наблюдения над жизнью природы.

Хорошо обследовал он также нижнее течение Оби, полуостров Ямал и неоднократно совершал путешествия по Северному Уралу.

Все эти путешествия необследованных краев были сопряжены для Носилова с большими трудностями и опасно-

* До революции ненцы презрительно назывались „самоедами“.

стями, но это не останавливало настойчивого путешественника.

Носилов горячо любил Север и с глубокой симпатией относился к северным народностям, задавленным капитализмом.

Об этих народах, их жизни и быте он написал не мало рассказов для взрослых и для детей.

В этот сборник взяты его лучшие рассказы из детских воспоминаний и рассказы о Новой Земле и Печорском крае, которые были написаны Носиловым до революции.

Умер Константин Дмитриевич Носилов 3 февраля 1923 года.



Совсем не стало волков в нашей стороне, как и многого другого зверя. Да и где нынче водиться

серому волку? Леса повырублены и вывезены на дрова в город; болота, займища, где так любил прятаться и устраивать себе логово волк, уже все высушены. Кроме того, сколько развелось всюду охотников.

Кто теперь не держит ружья в деревне? И весной, только что стает снег, и зимой, как только настанет свободная пора у крестьян, всюду бродят, ездят, ходят на лыжах охотники. Где уж тут укрыться серому волку? А сколько еще наедет каждую весну и осень охотников из города!

Зимой и осенью стон стоит по жиденьким рошицам, уцелевшим от старого леса, и оттуда без ума несутся на голые пашни и луга и ошалевший белый заяц, и перепуганная лисичка, и оставшийся кое-где серый волк.

А между тем, давно ли сжималось и трепетало маленькое сердце при одном слове „волк“? Давно ли мы даже носа не смели показать в ближайшую березовую рощу, боясь серого.

Мне не забыть никогда, как я в первый раз в жизни услышал вой волков, еще будучи маленьким. Это случилось раз ночью, когда мы спали с отцом летом на вышке. Я уже спал глубоким сном, когда меня вдруг тихонько, чтобы я не испугался, разбудил отец и сказал, что на выгоне воют волки. Я даже задрожал при этом. Отец взял меня на руки и поднес к слуховому окну. На дворе сначала ничего не было видно, но потом я рассмотрел яркие звездочки, крышу нашего амбара, за которой уже была полная, беспросветная темнота.

— Слушай,— сказал мне отец,— только не бойся,— они далеко.

Я прижался к его груди и наострил уши.

Но была полная тишина, и слышно было, как колотилось мое сердце.

— Не слышу! — шепчу я отцу, едва переводя дух.

— Молчи...

И вдруг я вздрогнул, прижался к отцу, обвил ручонками его шею и чуть не бросился от него к постели: до меня, сначала слабо-слабо, потом яснее и яснее, донесся дальний вой волков, страшный вой а-у-а-у-у-у,— который так и хватал за сердце.

— Не бойся, не бойся,— успокоил меня отец, и я более спокойно стал прислушиваться к этому вою. Что то страшное, захватывающее дух, жалобное было в этом вое. И я спросил отца, едва шевеля губами:

— Они голодные... эти волки, папа?

— Голодные... Слушай...

— Они придут сюда, папа?

— Нет, не бойся, не придут... Слушай...

Слушая вой волков, я воображал их себе в густом лесу, с горящими, как свечи, глазами, с оскаленными белыми зубами, с раскрытой пастью, из которой выходили в безмолвном воздухе эти страшные, хватающие за душу, звуки.

Сон прошел, боязнь тоже. В воображении были только одни волки. Я уже видел себя героем, большим, с ружьем, проникающим ночью в лес с нашим Полканом, и открывающим страшную пальбу, от которой так и валятся эти воюющие страшные волки.

— Слушай! — говорит мне отец.

Помню, мы долго тогда стояли так и слушали вой волков. И, кажется, слушали его не одни мы, а и вся деревня, все собаки; даже наш храбрый Полканко, не смея и голосу подать, заслышав страшных врагов.

Как вдруг со стороны степи послышался какой-то шум. Ближе, ближе, и в наш проулок ворвалось громадное скачущее, блеящее стадо овец, которое с шумом пронеслось мимо нашего дома и остановилось у церковной ограды, сбившись в одну общую кучу.

Я было чуть-чуть не вырвался из рук отца — так это меня поразило. Отец успокоил меня, говоря, что это овцы, и нам с ним вдруг сделалось смешно, что они так перепугались дальнего воя волков и принесли с выгона к церкви, к сторожу, который для них был единственной, в своем роде, защитой.

Хотя стада и не было видно в темноте, но я живо представил их в кучке у церкви, с расширенными от испуга, выпученными серыми глазами и беспокойными движениями, готовых снова пуститься куда-нибудь от малейшего движения.

Овцы нас рассмешили. Больше не стало слышно и волков, и мы снова отправились к постели.

Но и в постели я продолжал видеть волков и овец и фантазировать и, вероятно, так наскучил отцу ненужными вопросами, что он отворотился от меня и захрапел, как ни в чем не бывало.

* * *

В то же самое лето я слышал с той же вышки нашего дома и в другой раз вой волков.

Как сейчас помню, мы с отцом лежали на постели, прислушиваясь перед сном к голосам ночи. Где-то в ближайшем болоте кряхтел и скрипел, надсаживаясь, коростель; где-то далеко-далеко в полях посвистывала также однообразно, но более милым голосом, перепелочка; где-то вот тут за двором, в нашем огороде, трещал кузнечик. В слуховое окно было ясно видно, как на небе мигали светлые звездочки. И хорошо было смотреть на этот клочок звездного неба и слушать коростеля и перепелочек; так хорошо, что не заснуть бы всю ночь. Но усталость брала свое, глаза понемногу слипались. Голос коростеля становился дальше и дальше, голос кузнечика словно тоже куда-то улетел.

Вот в этот момент, в эти-то минуты забытья, вдруг до нас ясно донеслись какие-то необычные звуки. Кто-то вдруг испустил отчаянный резкий крик, и потом сразу замолк, чтобы через секунду снова прорезать воздух отчаянным визгом, в котором трудно было узнать чей это голос.

Мы с отцом моментально были на ногах, бросились оба к слуховому окошку и замерли там в ожидании, потому что голоса опять смолкли. Как вдруг отчаянно заржала

лошадь и, вслед за ее ржаньем, раздался снова отчаянный визг животного, в котором мы сразу узнали голос жеребенка. Потом раздался вой волков, заржали другие лошади, в наш переулок ворвалось стадо лошадей и коров, слышался страшный топот, земля дрогнула, и наши лошади отчаянно забились в запертых конюшнях.

— Папа, папа, что это такое? — спросил я, чуть не плача.

— Не бойся; это волки, они в поле...

И в этот момент я снова ясно расслышал, как жалобно завизжал жеребенок, голос которого уже слабел, сливаясь с голосами волков, которые на него уже напали.

Мне стало жаль жеребенка, и я заплакал.

Но отец меня, как мог, утешал:

— Не плачь. Полно... Будет... Слышишь, он замолчал?

Я прислушался сквозь слезы и, действительно, уже ничего не слышал, кроме ворчанья и драки.

Наши лошади продолжали страшно биться, чуя зверя. Я подумал, что волки уже забрались к нам во двор и давят нашего Карька.

Но папа успокоил меня и на этот счет, говоря:

— Ну, куда им до нашего Карька, он заперт крепко.

Мало-помалу лошади перестали лягаться в дверь, и в степи тоже все смолкло; ворчанья волков стало не слышно, и снова заскрипел коростель, засвистала перепелочка где-то теперь недалеко в поле, и застрекотал в огороде кузнечик. Мы снова легли в постель, прижавшись друг к другу. Снова так же блистали яркие, милые звездочки, такая же была тишина ночи, словно и не было тут близко от нас страшной драмы.

Разумеется, на следующее утро, как только я встал, так тотчас же побежал рассказать все матери, сестрам и брату. Потом побежал к товарищам, с которыми мы

отправились на место ночного приключения. Мать, было, меня отговаривала, чтобы я не ходил, страшая волками; сестры хватались за полы моего пальто, говоря, что меня, как и жеребенка, съедят непременно волки. Я сам, было, струхнул и сбавил наполовину пылу; но мысль, что я пойду не один, а с работником Трофимом, что с нами туда же отправятся все мои сверстники, что, наконец, мы будем вооружены, хотя все наше вооружение могло состоять только из палок, взяла верх над минутным колебанием, и я гордо заявил, что отправляюсь.

Трофим решил идти с нами, хотя уверял нас, что мы ничего там не найдем, кроме костей.

И он был прав; в степи мы нашли только пару копыт рыжего жеребеночка и капли крови.

Трофим рассказал нам, как берут волки жеребенка в поле, и представил нам такую страшную картину, что мы стали оглядываться, не видать ли где волков.

Но бояться было ровню нечего: Трофим говорил, что волки теперь сыты, убежали далеко в займище и спят, дожидаясь ночи, и что, уже напроказив здесь, сюда ни за что не воротятся.

Пока я представлял волка только в воображении, я еще не видал его живым. Правда, я видел шкуру волка на ярмарке; но там, сколько я в нее ни вглядывался, не видно было настоящего волка: шкура была страшно растянута, головы не было совсем, и только две пары лап да еще пушистый хвост, который волочился за мужиком-продавцом по снегу, пугали меня.

Правда, мне довольно наглядно представляли мужики волка, и, помню, один довольно удачно показал голову волка вечером на стене, сделав перед огнем как-то сложенные руки так, что я хорошо видел пасть волка, и так хо-

рошо, что даже вздрогнул и попятился, как мужик вдруг при этом еще „авкнул“ и взвыл, чем страшно рассмешил всех в кухне. Но этого было недостаточно, чтобы все это заменило мне живого волка, и я страшно хотел его видеть хоть раз в жизни, чтобы иметь о нем ясное представление.

И раз, действительно, мне это удалось.

* * *

Это было уже зимой.

В эту зиму были страшные непогоды, и снегу намело в наш переулочек со степи столько, что наш сосед, старик-крестьянин, уже лазил в свой двор не в ворота, а прямо через забор. Это была какая-то исключительная, страшная зима; снег валил большими хлопьями, а ветры были такие, что изба соседа была почти сплошь засыпана снегом, а на его соломенной крыше снег навалил такой сугроб, что я все думал, что сугроб этот упадет на кого-нибудь и задавит. Но он не падал и все больше нарастал.

Вот в эту-то зиму и появились волки около самого нашего села, тревожа всех каждую ночь.

Только, бывало, настанет утро, как Трофим уже является с новостями и рассказывает: „сегодня у Осипа волки зарезали овцу“; „вчера ночью волки, говорят, были в ограде у Кузьмы“.

И дело с волками дошло до того, что нас не стали совсем пускать вечером на улицу кататься с горы и даже днем не позволяли отлучаться в деревню.

Что ни ночь, то история с волками.

Волки стали уже душить собак; волки стали уже ходить по задворкам; волки стали забираться в хлева и есть гусей.

Это было какое-то нашествие волков, и крестьяне все в голос, жалуясь на них, говорили, что будет тяжелый

год, хотя папа и говорил, что волки потому ходят и давят в нашей деревне, что у мужиков неплотные дворы, а волки голодны, потому что все в лесу занесло так же, как в нашем переулке, снегом.

Это нашествие волков порядочно-таки убавило у меня храбрость. Признаюсь, я стал уже побаиваться вечером и даже вздрагивал порой на печке около стряпки Агафьи, хотя там ровно не было никого, кроме тараканов. Но, тем не менее, мне страшно хотелось видеть волков.

И вот я увидел волка.

Это было рано утром, когда только что стало светать, и я опять был этим обязан моему отцу. Нужно заметить, что он любил нас знакомить всех, а меня в особенности, с царством животных.

Так случилось и в то памятное раннее утро, когда вдруг в нашем проулке появились волки. В это утро они как-то скараулили у нашего соседа молодую свинку, когда она на рассвете только что было отправилась на реку, к прорубям, пить. Эта свинка хорошо была нам известна, потому что она зимой и летом лазала под нашу подворотню, бродила по двору и викала под окном кухни. И когда мы слышали ее виканье, то уже вперед знали, наученные всезнающим Трофимом, что будет непогода или даже буран.

Я и сейчас помню, как меня осторожно разбудил отец и понес на руках в одной рубашке в избу. Я протираю кулачком глаза. На ходу отец таинственно сообщает, что в проулке волки, и я окончательно просыпаюсь и тянусь к окну.

— Смотри, смотри! вон, вон они ведут свинку, — говорит он мне, поднеся меня к окну.

Но я ничего не мог рассмотреть, тараща глазенки.

— Смотри, вон, направо, у самого огорода.

Я всматриваюсь по указанию его руки и вдруг вижу хотя неясно, но вижу, как пара волков, страшно похожих на обыкновенную собаку и даже совсем не таких больших, как я воображал, ведут что-то вроде, действительно, свиньи, таща ее вдоль самого прясла.

— Видишь? Видишь? — говорит отец.

— Вижу, вижу. Это волки, папа? Это волки?

— Да, да, волки. Они ведут свинью. Видишь, один ведет ее за ухо, а другой ее покусывает сзади. Видишь, она упирается, нейдет?

И я, действительно, вижу, что свинья нейдет, все вертится задом, ее покусывают, и даже слышу, ясно слышу, как она визжит, — тонко так визжит, когда ее кусает сзади волк, и ей больно.

— Папа, но они ее съедят! Надо послать Трофима! — говорю я, чуть не плача.

Но отец говорит, что уже теперь ничего не сделать, что они и ведут ее только потому, что пока еще не вышли из нашего переулочка. Трофим спит, соседей тоже послать некого, — все еще спят, и надо покориться бедной свинке.

Но это меня страшно возмущает: я, действительно, вижу, что волки уводят ее дальше и дальше. Вот уже их плохо видно в сумраке утра, вот уже не стало слышно визга, вот уже волки исчезли совсем из окна. Кончено. Теперь задавили или давят. Это минутное дело. Это меня так возмущает, что я готов туда бежать, к этим волкам, отбивать свинку соседа, драться с ними палками, если бы только не отец, который несет меня уже обратно в детскую и водворяет снова в кровать.

Но я еще долго вижу эту пару волков, эту бедную свинку.

Утром, когда мы встали, мне показалось странным, что все говорили шутя о задавленной волками свинье, и никто, ровно никто, ее не жалел, даже сам ее хозяин, старик седой, который только хлопал по коленкам руками, рассказывая, как хитро волки подкараулили его свинку, когда она побежала утром на водопой к реке.

После этого случая я, признаться, даже не стал играть вечерами в своей ограде:

„Ведь высунь только нос из дому, как волки тебя и поведут на глазах у всех за ухо на задворки“, думал я про себя; „пожалуй и тебя не будут нисколько жалеть, как не жалели уведенной свинки“.

Но больше всего меня тревожил вопрос, как мы поедem на рождестве к дедушке.

Дело в том, что дорога к нему шла как раз в том направлении, куда увели волки свинку. А путь не близкий, целых двадцать верст, и что особенно страшило мое маленькое сердце, это то, что на середине дороги было дикое место, падь, где даже летом мама боится постоянно волков.

Это обстоятельство заставило меня не раз спрашивать Трофима, живут ли волки зимой в падах. Но Трофим не только не успокаивал меня, напротив, рассказывал такие страсти про волков, что я с ужасом думал о поездке к дедушке.

Между тем, не ехать туда — обнаружить трусость, было невозможно, тем более, что это был исстари заведенный в нашем доме обычай в это время посещать дедушку. Невозможно и представить себе, чтобы мы с старшим братом не поехали к дедушке, не пропели бы ему „рождества“, не получили бы от него на праздник по маленькому серебряному пяточку. Странно было бы не пови-
дать доброй бабушки, которая угощала нас лакомствами, не поестъ сырников, чудных, маленьких, кругленьких сыр-

ников, которые так мастерски стряпала и морозила на рождественском морозе стряпка Варвара.

Вот и последние дни перед праздником рождества. Вот и самый праздник с неизменными славельщиками, которые врываются к нам впопыхах, словно за ними гонятся сами волки. Вот и день нашего отъезда к дедушке.

Трофиму отдаются последние приказания насчет лошадей и кошевки. Отец заботливо усаживает нас с братом и мамою в кошевку и закрывает теплым одеялом. Трофиму наказано нас не вываливать на раскатах и спускаться тихонько с горы и держать крепко беспокойную пристяжную. О волках, к моему удовольствию, ни слова, и мы чуть слышно скользим по свежее выпавшему снегу за ворота, быстро проезжаем узкий переулочек и уже на нашем голом выгоне, а впереди перед нами словно вырастает страшный березовый лес, в котором, по моему мнению, и живут волки.

Вот и лес с толстыми березами и высокими осинами. Волков нет и следа, но зато сколько следов и тропочек заячьих! Они уже успели с утра проторить эти тропки, по которым так бы и побежал в синеватую чащу осинового леса.

— Заяц-то, заяц-то! — вдруг закричал Трофим, сидя на облучке и показывая куда-то вперед кнутиком, прямо через дорогу. Мы оба повскакали с братом на ноги, держимся за спину Трофима и, действительно, видим белого, как снег, зайца, который перебегает нам дорогу, летит вдоль нашего пути с перепугу и, шарахнувшись раза два в сторону, наконец, исчезает за высокой осиной, показывая нам на секунду хвост и задние длинные лапы. Это было секундное зрелище, но оно и теперь стоит перед моими глазами.

Все это ново и так хорошо, так приятно ехать зимою рядом с мамой, так свеж этот морозный воздух, который чуть-чуть щиплет нос и захватывает дыхание. Потом этот

лес начинает как бы прерываться, и деревья почему-то склоняются в одну сторону. Потом телом овладевает какая-то особенная истома, начинаешь закрывать незаметно и щурить глаза и раскрывать их испуганно только на ухабах. Потом лес смешивается с белыми прыгающими зайцами, спина Трофима — с снегом, который быстро бежит около самой кошевки навстречу, тропы с осинами, хвост пристяжной — с березой, и все это так чудно, непонятно сплетается между собою, и мною овладевает незаметно зимний дорожный сон, в котором человек чувствует какую-то особенную истому и негу...

Я не помню, сколько времени продолжался мой сон; но помню, как сейчас, как ужасно было мое пробуждение.

Я почувствовал, что экипаж наш заскакал, запрыгал, стал наваливаться, лошади страшно забили в наш передок, понесли, а мама крикнула Трофиму:

— Держи, держи лошадей! вывалишь детей в ухабе! — и схватила нас обоих, прижала к себе.

Мне представилось, что лошади несут нас под гору, что мы уже вылетаем в снег, что за нами гонятся волки, в один миг в детской голове представилась тысяча ужасов, и я заревел, закричал, чтобы лошади остановились.

Но лошади не останавливались. Я слышал, как бил снег из-под копыт мягкими ударами в наш передок, как туда же стучало порой копыто, и казалось, вот-вот мы вывалимся в снег, и у меня закружилась от боли и страха голова.

— Держи, ради бога, Трофим! — кричала мама.

Но Трофим молчал, словно его не было на облучке, и слышно было только визжание полозьев, удары копыт, храп лошадей, которые, видимо, окончательно взбесились.

Вдруг мы сворачиваем куда-то в сторону, визг полозьев становится тише и тише, и мы останавливаемся. Я вижу

над собой голые ветви березового леса и слышу храп лошадей и рыдание моей матери.

— Мама, мама, что такое? Нас понесли? Ты ушиблась? — засыпаем мы с братом ее вопросами.

— Ничего, ничего, дети, сидите, это виноват Трофим.

Она начинает бранить кучера Трофима, что он распустил вожжи. Но Трофим божится, что вожжи все время были в его руках.

Теперь он слез с облучка и держит лошадей за подуздки; лошади дрожат и оглядываются назад и в сторону, словно они что-то там еще недавно видели. Особенно пристяжная, с закрученным по-ямщицки хвостом, так и переступает с ноги на ногу, готовая броситься. Она положила на коренную свою красивую голову и так и прядет почему-то острыми ушами, словно чувствуя какую-то опасность.

— Стой, стой! — уговаривает ее Трофим, глядя по морде. — Стой, стой, что ты, бог с тобою! Кого испугался этак?

И поправляет ей челку на лбу, выправляет хомут под грудью и все гладит ее, охорашивает, сам, видимо, растерявшись, не зная еще, почему нас так понесли смирные лошади.

Мы с братом стоим в кошевке и то смотрим на Трофима, то на пристяжную, то на маму, которая еще не может успокоиться.

Вдруг Трофим каким-то особенно жалобным голосом кричит маме:

— Волки-то, волки-то! Глядите-ка назад! Ах, они, проклятые твари! Вот кто перепугал лошадей!.. — и он вдруг закричал благим матом „ух“-„ух“ и, схватив кнут, застучал им, что есть силы, по передку, окончательно этим перепугав

— 54728

Ланты-Александровская
окружная библиотека

КО

и нас и лошадей, которые снова едва не рванулись в бегство. Мы обернулись все и, действительно, увидели тройку серых волков, которые преспокойно сидели в стороне, сажень за двести от дороги, на пашне.

Я несколько их не испугался; но мама вдруг побледнела, засуетилась, что-то торопливо вынимая из своего кожаного саквояжика.

— Кричите, дети! — сказала она нам, — громче кричите: они убегут.

И мы стали кричать с братом, кричать тонкими голосами, насколько хватало сил вместе с Трофимом, голос которого стал уже охрипать от холодного воздуха. Мне даже показалось это забавным, и я кричал, махал к чему-то руками и старался кричать таким толстым голосом, чтобы слышно было, что я мужчина.

Но волки преспокойно продолжали сидеть, словно и в самом деле слушали наш концерт.

Но вот мама вынимает из саквояжа хорошенький револьвер и, привстав на ноги в кошевке, поднявши высоко руку в воздухе, делает один за другим короткие, резкие выстрелы. Лошади дернули, мы падаем вместе с мамой в канаву, думаем, что нас снова понесли, но кучер сдерживает лошадей, и я слышу — раздается еще и еще выстрел. Трофим снова заухал, застучал и даже кинулся куда-то в сторону волков, крича:

— А, проклятые, побежали, испугались, я вас, я вот вас, проклятых!

И мы снова встаем на ноги и видим, что волки бегут, бегут дальше в березовый лес, за ними несется, смешно ковыляя, наш Трофим с кнутиком, а мама смеется, радостная такая, успокаивая нас, с румянцем на лице, с влажными еще от слез глазами.

Вот волки уже далеко, вот уже их не видно стало. Мы кричим и тоже хотим бежать за Трофимом; мама смеется, лошади тоже смотрят в сторону убежавших волков, и нас вдруг охватывает такое веселье, такая удаль, такое возбуждение, что мы от души хохочем над Трофимом, как он бежит дальше с поднятым кнутиком по глубокому снегу, увязая в нем, и все грозит волкам, все кричит им, когда уже их давно не видно.

Мама тоже смеется над ним:

— Ах, глупый, глупый! Ну, что бежит? Что кричит? Трофим, Трофим! будет... убежали... Иди... поедem скорее...

И мы видим, Трофим остановился, бранится и все еще грозит волкам в лес.

В это время, по колена в снегу, в своем нагольном тулупе, с овчинной шапкой на голове, с мохнатыми рукавицами, приподнятыми в воздухе, с кнутом, кричащий что-то волкам хриплым уже голосом, он совсем не походил на героя и был так смешон, что мы покатались в кошеве со смеху.

Прежде чем мы тронулись, прошло немало времени. Трофим воротился весь в снегу: в его пимах было столько снега, что надо было разуться; но главное, разгоряченный победой, он непременно хотел нам рассказать все, как было по порядку. И говорил столько, что мама, наконец, приказала ему сесть на облучок и ехать.

Вот уже видим село, занесенное снегом; вот и дом с знакомым садом. Все, что мы только что пережили, отходит так далеко, на задний план.

Разумеется, дедушка и бабушка, и Варвара должны были от каждого из нас выслушать не один раз самое живописное описание, как испугали нас волки.

Так я видел в первый раз в жизни волков при дневном свете. Ровно ничего ужасного. Как собаки. И только

когда они бросились бежать, было странно видеть, как они ковыляют, словно припадают на переднюю ногу.

После в жизни я много видал волков, они бежали в дороге за моей кошейкой, я охотился на них с винтовкою, они нападали на мою палатку в путешествии, они даже раз поеи у меня тройку чудных оленей ночью — но я уже не боялся их и при виде их только разгорался страстью к охоте.



Ранней весной, когда только что появлялась первая крупная мочка на березе, когда начинала распускаться ива и покрывался зеленью выгон,—наша деревня, где протекало мое счастливое детство, обыкновенно развлекалась бабками.

Бабки были у нас очень любимой игрою; в бабки играли и малые, и большие, и в праздники на улице можно было видеть не только нашего брата подростка с панком в руке, прицеливающегося в длинный кон белых и крашенных бабок, но и взрослых мужиков, которые становили козны * громадной шеренгой и жестоко били железными плитками, бросая их на десятки сажен с такой силой, что бедные бабки скакали на сажень вверх, прыгали на стены и разлетались пополам, переставая от таких ударов быть даже бабками, и превращались в ничего не стоящую кость.

* Бабки.

Я страшно любил играть в бабки. Агафья-стряпка не смела никому, кроме меня, дать бабки, когда вываривала на студень бычачьи ноги; я ее заставлял красить их, а работник Трофим нередко наливал их свинцом, чтобы битки, которые я бросал в кон, были тяжелее, чтобы бабки разлетались от них по сторонам, и мои карманы были бы полны чужими бабками.

Но как я ни старался, как ни красила Агафья бабки, как ни наливал полно панки Трофим свинцом, а я все-таки каждый раз, отправляясь на игру к соседним товарищам, неизбежно проигрывался впух и впрах, часто до последнего битка.

Но в этот день, весенний, ясный, теплый день, к которому относится этот рассказ из моих воспоминаний далекого детства, я, к удивлению своему, не нашел охотников со мной поиграть: соседи мои ребята были в лесу, даже не было маленьких девочек — их сестренки, и я нашел одного только знакомого парня, от которого узнал, что все мои приятели ушли за саранками.

Боже мой, как я мог прозевать такой случай — побывать в лесу и в поле в это время! „Ушли за саранками“, — да ведь это горе: они все саранки выкопают и поедят...

Парень говорил, что они взяли и бурачки для березовки.

Горе мое, казалось, с каждой минутой росло, и я с тоской посматривал в соседний березовый лес, что не бойся я его берез, что стояли группой за выгоном на кладбище, то я смело один отправился бы, чтобы догнать товарищей, которые предприняли без меня такой важный поход в поле.

Делать было нечего; пришлось покориться и ждать другого дня, когда товарищи мои снова отправятся за саранками и можно будет идти с ними...

„Но если будет дождь? Если не отпустит мама?“ — грустно думал я.

Но мама утешила меня, говоря, что она отпустит за саранками, если только пойдут в поле завтра деревенские ребята.

Вечером они воротились. Ни саранок, которые они поели в лесу, ни березовки, которую они выпили там, на месте, — у них не было; но у них были такие счастливые лица, так горели глаза, столько было рассказов про то, как они видели в лесу серого зайца, что я чуть не со слезами просил их взять завтра меня с собой в лес, чувствуя, что я не вынесу другого такого же горького для меня дня.

Они обещали взять меня. Один сверстник, с которым я был более всех дружен и еще не дрался ни разу, даже обещал зайти за мной, — я успокоился и стал ждать.

Ночью я десятки раз вскакивал, боясь проспать, десятки раз подбегал к окну и смотрел, не начинается ли день; но утром меня сморила усталость, и я вскочил тогда уж, когда в окно смотрело солнце. Я не стал пить чай, как меня ни удерживали; взял корзинку, в которую еще с вечера мне положила Агафья пару яиц и кусок хлеба, и прежде чем мать хватилась меня, как я уж был за воротами, и обернулся взглянуть на нее только тогда, когда она постучала мне в окно и что-то крикнула, — вероятно прося, по обыкновению, быть осторожнее.

На месте назначенного сборища была уже целая ватага ребяташек — мальчиков и девочек во всевозможнейших костюмах: кто в материнной кофте и отцовской шапке, кто в пимах, кто босиком, кто в одной рубашонке, кто в дырявом армячишке с отцовского плеча, с подтыканными полами, — и все вооруженные: то боронным зубом, то сломанными железными вилами, то лопаткой, то старым ножом, то тупицей, — словно мы шли на какого-нибудь неприятеля,

отправляясь в дальний поход. У более взрослых, которые были проводниками и брали нас, мальчуганов, под свое покровительство, были даже заткнуты за опояску настоящие топоры, у одного было даже какое-то короткое ружье, которым он клялся, что убьет зайца.

Девочки в белых и красненьких платочках, одни босиком, другие в ботинках и сапожках, стояли особняком, не смешиваясь с ребятами, с корзиночками в руках, на дне которых лежала провизия, а также деревянные ложки для березовки; некоторые захватили по бурачку, где было пока молоко.

Вся эта ватага ребят шумела, спорила, кого-то дожидалась; многие бегали за забытыми вещами и не могли еще тронуться, дожидаясь то товарища, то товарки.

Наконец, мы тронулись в путь, побежали по проулку, и хотя наши смелые вожаки и кричали нам: „Не торопитесь! не торопитесь!“ но мы не могли сдерживать своего страстного желания поскорее добраться до леса, и многие уже вытянулись по выгону и, казалось, готовы были бежать к ближайшим кладбищенским березам, которые нам казались настоящим страшным лесом.

Вот и кладбище со старыми крестами и свежими могильными насыпями из желтого песку. Сколько знакомых могил, крестов, могилок! Тут лежит брат Васи, там отец Петра, тут дедушка моего приятеля Кирилла... Но теперь не до них, и мы уже рассыпались около ближайших толстых корявых берез, перебегаем от одного ствола к другому, торопимся найти свежую засеку, в которой накопилась за ночь вкусная березовка — березовый сок.

Боже, какая вкусная березовка! Кажется, вкуснее ее нет ничего на свете!

Вот свежая засека в корявом толстом стволе березы, которая немного даже склонилась в эту сторону; сквозь све-

жий заруб просачивается белый сок, стекает в лунку, и в ней уж накопилось через край вкусного сока, и он тоненьким ручейком, струйкой, течет вниз по стволу, теряясь в расселинах ствола, словно слезы в старческих морщинах. Маленькие щепочки плавают в нем; тут же замокло белое бересто; но это ничего, мы сдуваем его осторожно; становимся на колени, припадаем и аппетитно пьем, прося друг друга оставить попить еще, жадно припадая разгоряченными губами к сладкому, словно сахаром напоенному, соку, который пахнет березой...

Кажется, ничего нет слаще, ароматнее этого напитка, ничего нет полезнее для груди, которая поднимается выше, дышит глубже, вольнее в этом свежем березовом лесу, уже отдавшем воздуху аромат своих почек и белых стволов.

И вся наша команда уж рассыпалась по лесу, шумит, дерется, стучит топором, даже не думая, что подрывает жизнь старым березам, которым нужно потом несколько лет, чтобы залечить эти раны, которые мы нанесем нашими топорами.

Дети на коленях пьют сок, на коленях подрубают дерево, на коленях сливают ложками сок в бурачки, чтобы унести домой и напоить там маленьких братьев и сестер, которых не пустили в лес.

Проходит добрый час или два, пока мы жадно пьем сладкий сок; шумная компания снова собирается на место; наступает продолжительный, говорливый отдых на зеленой траве; сообщаются разные новости, накопившиеся за это время, впечатления, разбираются ссоры, упреки, и наша орава снова поднимается на резвые ноги, чтобы пуститься дальше в путь к настоящему, уж березовому, большому лесу, что чуть виден за версту за пашней.

Там уж неизвестные земли, таинственность. Там Гришутка Козленков зимой, когда ездил с отцом за снопами, видел серого волка. Там пропасть, по словам Степки, зайцев. Там может быть и опасность, и мы молча, сбившись в толпу, пускаемся туда, оглядываясь назад, соображая тайком: далеко ли нам придется бежать, если мы увидим волка.

К этому невольному страху прибавилось и то, что вдруг стало сумрачно. Яркое солнце, горячо разливавшее лучи свои с раннего утра, теперь зашло за облако; подул сырой ветерок; деревья тихо зашептали; сухая прошлогодняя трава склонилась к северу.

Вот окончилась и большая пашня Савоськи с сжатой соломой прошлогодней ржи, вот и опушка березового леса, дальше идет высокий осинник, там мы рассыплемся искать саранки, луковки, из которых летом в страду вырастают такие высокие дудки с фиолетовыми висячими цветами-колокольчиками, украшая этот лес вместе с другими разнообразными цветами.

Вот и березовый, местами вырубленный, лесок; сучья трещат; мы спотыкаемся от торопливости и невольного страха, вступая в этот неизвестный лес, где можно заблудиться; осторожно пробираемся по нему к осиннику, оглядываясь по сторонам, нет ли где в кустах черемухи волка, и, уж совсем замолкнув, вступаем в таинственный осиновый лес, где только одни старые желтые и красные листья осины нарушают покой, трепеща у сучков от пробегающего по лесу легкого ветерка.

В лесу — темно, страшно, таинственно; сквозь синеватые стволы ничего не видно; кругом — тишина; высокая, старая трава; земля завалена вся плотно широкими листьями осины, которые при каждом шаге шелестят, опутывают ноги, и они вязнут в топких сырых местах.

Вон горка муравейника; вот сломленная бурей осина с опрокинутым синим стволом и переломанными ветвями, которые обглодали зайцы; вон воронье гнездо в ветвях, из сухих сучьев; вон следы жировки зайцев, тропы, ложбища в сухих ветвях,— и лес, осиновый, толстый лес словно замолк, пропуская наше затихшее вдруг общество между своими высокими стволами, готовый напугать нас первым скрипом, первым натиском порыва ветра.

Становится жутко и страшно.

Но вот кто-то крикнул: „саранки, саранки!“— и бросился в сторону; ватага сразу ожила; страх забыт, — все бросились на поиски, разбежались по лесу, зааукали, закликали,— и бороньи зубья, ножи, все острые инструменты, начиная с ломаных вил, пущены в ход,— сырая земля, листья полетели в стороны там, где должны быть саранки.

Мы долго с Степкой не можем найти саранок; все роют, все копают, вон уж едят, а у нас словно застлало что глаза, мы не видим, пробегая мимо. Кругом нас уж идут счеты: сколько кто нашел, кричат вновь и вновь: „саранки, саранки, еще, еще!“, а мы словно ослепли, ничего не видим и только бросаемся из стороны в сторону, смотря с недоумением, как роют, выцарапывают руками, вытаскивают черными уж от земли ручонками большие и маленькие луковки и, обтирая их той же грязной рукой, едят, едят, впиваясь в белые и желтые, вкусные, сочные перышки белыми зубами и оставляя там свои следы.

„Господи, неужели не найдем мы ни одной саранки?“

Но вот, наконец, Степка, с которым у нас компания на паях, бросился в сторону, вскрикнув от радости:— „саранка!“ Я бегу за ним и растягиваюсь, задев ногой за какую-то ветку, локти уходят в сырой лист и мокры, коленки тоже, рука оцарапана, язык больно прикушен, но я встаю и

подбегаю, когда он становится уж перед тоненькой дудочкой старого ствола саранки на колени и сильным взмахом тупицы начинает окапывать кругом его сырую землю, вонзая в нее глубже и глубже топор.

Я тоже становлюсь на колени; ствол саранки передо мной; „неужели там нет в земле саранки?“ — думаю, вздрагивая от каждого удара ржавого топора, который уходит глубже и глубже в сырую землю; я замираю, бросаюсь, чтобы помочь выцарапать из ямки землю руками, перепачкал уж их. Но как-то верится в опытность Степки, и вдруг он вытаскивает кругленький комочек земли; ствол падает, подорванный его руками, и, обтерев его о сырой лист, показывает мне луковицу, желтую, большую луковицу саранки с загнутыми сочными перышками, с острым хвостом, как у репы, которую я почти вырываю из его рук, чтобы в свою очередь полюбоваться ею. И мы, забыв все, садимся около свежей ямки на сырой лист, протягиваем ноги, разглядываем ее и начинаем пробовать, отламывая перышко за перышком, наконец, узнав ее прекрасный, несравненный ни с чем вкус, начинаем есть, добираемся до ее круглой пестиком сердцевинки, из которой должен был вырасти потом высокий ствол травки и распуститься из этих вкусных перышек в пышный цвет фиолетовыми колокольчиками, которые так любят пчелы.

Какая вкусная саранка, как хороша она в этом лесу! „Вот показать бы маме!“

Но саранка живо съедена; хочется еще, еще, много, чтобы набить полные карманы, чтобы принести домой, дать сестрам, брату, показать маме, и мы бросаемся снова на поиски, пока не находим, не становимся на колени, не рубим тупицей землю, не роемся руками в сырой земле, не вытаскиваем саранок, чтобы наесться досыта и набить карманы...

Я сам уже отыскиваю саранки и, увидав, бегу, падаю на них и кричу Степке: — „саранка, большая саранка!“

Мы уж далеко забежали в лес; по временам становится страшно, когда стихают голоса; лес стал темнее, зашумел вершинами, потом затих, словно перед грозой; но саранки, как на грех, попадались чаще и чаще. Уж набиты ими карманы; уж у Степки набита пазуха, как вдруг — выстрел; мы бросаем топор, прислушиваемся, и страшный, нечеловеческий крик, крик зверя, но какого — неизвестно, доносится до слуха. Кто-то крикнул: „волк!“ Волосы зашевелились; мороз пошел по коже, и мы в ужасе бросились со Степкой бежать без оглядки, забыв и топор, и саранку.

„Волк! Волки!“ — кто-то крикнул еще и еще, и все ближайшие наши соседи по лесу бросились бежать с криком, визгом, пугая друг друга, сбивая с ног, падая через колодины, рассыпая саранки, бросая корзинки, кузовки, набегая на стволы деревьев, ломая сучья, забыв все, только стараясь как можно поскорее выбежать из этого страшного леса на пашню и улепетнуть поскорее в деревню, которая — увы! — так далека...

Я несясь стремглав за Степкой, видя только его черные пятки. У меня не было в карманах уж ни одной саранки, все повыскакивали, и мы опаматовались только тогда, когда перебежали пашню и снова были на кладбище, откуда хорошо была видна наша деревня. Сбившись в кучу, мы заметили, что нас осталось немного. Кто-то еще бежал по пашне, высунув язык и раскрыв рот. Мы забираемся на высокую могилу; залезаем на крест и смотрим; но позади стоит одиноко осиновый лес, — там царит такая тишина, словно уж все кончено. Ясно, что волки поели всех наших товарищей и товаров.

При этой мысли мы в ужасе несемся тем же аллюром

дальше, в деревню, с страшной вестью, что волки поели наших товарищей в осиновом лесу.

Вот и деревня, вот и гумна, вот и проулок,—и мы несемся по улице и разбегаемся по своим дворам с ужасной вестью, дрожа от страха.

Мать не верит мне, слушая бессвязный рассказ; сестра бледнеет при вести, что погибла ее подруга — Настя; брат с ужасным лицом раскрыл рот да так и застыл в недоумении; Агафья хлопает в десятый раз руками, слыша такие страшные вести; я не верю почти в свое спасение.

Посылают на выручку кучера Трофима на Карьке; я хочу с ним разделить отвагу, но меня не пускают. Проходит томительный час, и Трофим является с докладом к моей маме, с полными карманами саранок, говоря, что мы напрасно только всех перепугали, так как вместо волка наш охотник убил зайца, который и визжал так страшно, умирая. Настя жива; сестренка хлопает в ладоши от радости, и мы бросаемся на саранки, забывая весь испуг и только что пережитые волнения нашего первого путешествия в лес, в неизвестные страны.



Помню, нас с братом часто спрашивали в детстве отец с матерью, кем мы желаем быть, когда будем взрослыми.

Я, как только стал помнить себя, страшно любил свободу и старался пользоваться ею при каждом случае: выйдет мать в соседнюю комнату, я уже на дворе играю мячиком или бегаю взапуски с собаками; отлучится отец, я уже бросаю азбуку и бегаю по соломенной крыше. Эти путешествия по крышам, по чужим огородам, это вечное лазание куда-либо, как можно выше, было так мне приятно, что я даже завидовал воробьям.

„Воробьи — вот свободная, счастливая птица“, — думал я; — „им не нужно азбуки, их не ставят в угол, им не нужна хитрость, они всегда свободны“, — и смотря на них, если я и не хотел быть в полном смысле воробьем, то все же непременно желал обладать свободой всюду порхающих воробьев...

И раз, когда меня спросили за чаем, кем желаю быть в жизни, я, помню, смело ответил:

— Хочу быть странником.

— Странником?— удивленно переспросил отец.

Я молчал.

— Откуда пришла тебе такая мысль? — заинтересовался он.

Я не знал откуда и потому молчал и краснел, будучи твердо уверенным, что мой выбор мне, действительно, по сердцу.

— Ну, удружил... странником!.. Он хочет, слышали вы, быть странником!— повторял отец.

Он, видимо, был недоволен моим выбором и сразу поднял меня на смех. У меня невольно выступили слезы на глазах.

— Что же, мать, ему надо сшить котомку, вырубить хорошую палку... Пусть бродит по свету... Нам нечего и кормить его теперь, когда он не хочет кормить нас потом в старости... Что же? Нас прокормит Гино. Ты, Гино, прокормишь нас с матерью один?

Гино — брат мой, ответил, что он с радостью не только будет кормить, но даже будет посылать меду и сахару, и осетров и всякой рыбы.

Я настойчиво молчал; но мысль, что я оказался неблагодарным сыном, мне не понравилась, и, помню, я тоже заявил, что буду кормить их, что я совсем не хочу покидать их в старости и быть неблагодарным, и еще больше смутил отца, когда сказал ему, что я не пойду с котомочкой, а просто буду ходить и ездить по белу свету.

— Но что же ты будешь делать?— спросил смущенно отец.

— Буду ходить и ездить...

— Потом?

— Потом буду смотреть и учиться...

— Потом?

Я не знал, что будет потом, и потому был в большом затруднении, когда мама, все время молчавшая и не спускавшая с меня глаз, вдруг заметила с насмешливой улыбкой:

— Я догадываюсь, кем он хочет быть.

— Кем?— спросил ее отец, повернувшись к ней лицом.

— Бродягой.

И они так весело засмеялись, что мне еще больше стало обидно. И я ушел поскорее из-за стола, не высказав им вполне своей мысли.

Впрочем, я едва ли мог бы тогда и высказать что-нибудь,— мои желания выходили только из сердца, а оно тянуло меня на волю, и я мечтал о свободе путешествия.

С тех пор меня прозвали бродягою, но я этим нисколько не обижался: я чувствовал, что буду кем-то другим, и мысль, что я все-таки торжествую, меня так тешила и ободряла, что я даже не защищался. Кроме того, и бродяги мне совсем не казались такими ужасными, как говорили про них все в доме.

Я часто видал этих странников с грязными котомками за плечами. Мы жили на Сибирском тракте, и они часто появлялись у нашего кухонного окна. Зайдут тихонько со стороны выгона в деревню, подойдут к окну и просят милостыньки, и все такие усталые, в пыли, в поршнях, на босу ногу, все такие жалкие, измученные, с котелками, в которых они варят пищу, живя постоянно в поле и не выходя почти всю жизнь из лесу.

— Куда вы идете?— спросит, бывало, мать, подавая им кусок хлеба.

Они поклонятся ей учтиво и ответят:

— На родину, матушка, в свою Бессарабскую губернию.

— Откуда вы?

— Из Сибири, матушка, из самой Сибири. Сил не стало жить без родины, там жена, детки, вот и бежим... Не подадите ли копеечку бродяжкам?

И мама подавала им копеечку и хлеба, и странные люди, загорелые, осторожно, оглядываясь, так же тихонько отходили от окна, как и пришли, чтобы не заметило их сельское начальство. Они шли обыкновенно мимо тракта и жили в лесу в маленьких избушках, тянулись партиями и одиночкой по дорогам, были и в лесу такие смирные, жалкие, просящие милостыни, как и в деревне.

Когда мы ездили в город с матерью, то часто подвозили их на своей тележке. Они, сидя рядом с нами на козлах, рассказывали нам столько интересного про свою жизнь, что становилось жутко. Медведи, волки, преследование странников, ночи, дни и месяцы в темном лесу, в сибирской пустыне, быстрые реки, которые они переплывали со своими котомками, лесные пожары, от которых бежали, всюду опасности и смерть, всюду ужас,— и все это только ради одной своей милой, далекой родины. У меня всегда сжималось при виде их сердце.

Порою, бывало, мама им скажет:

— Ведь вас там схватят и снова пошлют в Сибирь и засадят...

— Что же, матушка,— ответят они ей,— пойдем опять по этапу в Сибирь, будем опять сидеть и работать, а против сердца не устоять человеку, все хочется посмотреть деток.

И эти люди уходили от нас, слезая под самым городом, и торопливо скрывались в лесу, чтобы обойти его кругом и снова следовать вдоль тракта к родной „Расее“. И мне нравилась эта настойчивость, меня восхищали эти люди,

которые являлись для меня героями, которые шли прямо к своей цели. И когда меня называли бродягою, я только посмеивался, думая про себя:

„Пусть я буду бродягою, лишь бы только была у меня свобода“.

И я бился за свободу перед отцом и матерью. Я пользовался каждой минутой и убегал все чаще и чаще из дома, чтобы где-нибудь бродить или лазать по чужим огородам.

Эти чужие огороды и были местом моих первых путешествий.

И что за прелесть эти огороды и гумна! Репейник казался мне настоящим тропическим лесом, словно где-нибудь в далекой Африке, о которой я уже знал по учебникам, горы соломы — настоящими горами и возвышенностями какого-нибудь уральского хребта, овин с запыленными жердями и дремлющими летучими мышами — каким-то странным обиталищем неизвестной чуди, высокая конопля — настоящим лесом, и хотя мне доставалось там, и я не выходил цел из этих путешествий, но все же я приносил домой вечером столько интересных наблюдений.

С деревенскими ребятами у меня была большая дружба, и так как они тоже были свободными, то смело предпочитал их брату и сестрам, и настойчиво убегал с ними в ближайший лес, когда они туда отправлялись за ягодами, настойчиво делал с ними набеги на птичьи гнезда или в луга, где жили сороки, настойчиво с ними купался или ловил рыбу, когда они купались в реке и ловили штанишками мелкую рыбу, и одновременно шел с ними домой, весь перепачканный и ободранный, зная вперед, что за это мне достанется, меня накажут.

Но полчаса отстоять в углу за печкой — наказание не совсем большое, чтобы лишаться таких удовольствий, а

потому на другое утро я снова скрывался на весь день, как это только было возможно, и пропадал где-нибудь до вечера, даже не думая о том, что меня ожидало дома.

Порою я даже не являлся домой обедать и ужинать, питаюсь вместе с ребятами тем, что только попадало им в руки: сырая морковь и репа,— ел репу и морковь, дадут гороха или подсолнуха,— питаешься горохом и подсолнухом, посадят за стол в какой-нибудь семье, куда забежишь играя в избу,— садишься и ешь.

Иногда я возвращался и с разбитой физиономией и в растерзанной одежде, хотя и был вообще очень безобидного характера и совсем не забияка.

Это случалось тогда, когда нас партией выгоняли из какого-нибудь чужого огорода, заставляя на бобах и горохе, и мы должны были принимать все меры к спасению, или тогда, когда на нас нападала чужая партия, с которой мы были почему-либо не в ладах.

Тогда происходило настоящее сражение.

Раз я хорошо помню одно такое сражение, которое было на другом конце нашей деревни.

На нас напали человек пятнадцать и, несмотря на то, что нас было всего, кажется, семеро, мы долго держались у овина, пока нас не доняли там комьями глины и земли... Пришлось сделать отступление, и вот тут-то, пробираясь через репейник, колючие травы и плетни, я не помню, как оставил половину своего костюма, не желая сдаться противникам.

Нас, разумеется, в конце концов разбили, и я постыдно бежал. Но это, вероятно, не было бы известно всей нашей деревне, если бы не пришла к нам на другой день какая-то особенно услужливая деревенская баба. Мы сидели все за столом, когда ее словно толкнуло что к нашему окошку. Мать подошла и спросила:

— Что тебе нужно?

Женщина поздоровалась и сказала:

— Вот это, матушка, не вашего ли сына? Нашла сегодня в своем огороде...

И она подала половину моих плисовых черных шаровар, которую я накануне потерял в постыдном бегстве и о которой благоразумно умалчивал. Отказаться матери было невозможно, и она поблагодарила женщину за эту услугу.

Через несколько минут я уже был на своем месте — в углу, у печки, и подробно обдумывал прошлое, соображая, как бы отплатить деревенским ребятишкам за их преследование в бегстве.

Но отплатить им так и не удалось, потому что мне скоро строго было наказано дальше двора не удаляться и, помню, на этом и кончились мои первые путешествия по чужим огородам.

Но зато я скоро сделал настоящее путешествие, которое всполошило всю нашу семью и о котором долго говорило почти все село.

Дело в том, что недалеко от нас была интересная ярмарка, на которую из сибирских степей съезжались на верблюдах киргизы.

Собственно говоря, меня не так интересовали киргизы, сколько привлекали арбузы, которые они туда доставляли на арбах. Эти арбузы были величиной с мою голову и были так сочны и сладки, что решительно нельзя было устоять и не соблазниться ими.

Между тем, туда нас неохотно брали, и если иногда и привозили на ярмарку, то только на самое короткое время, опасаясь таких болезней, которых мы и не ведали, и я всегда поэтому завидовал своему отцу, который бывал на ярмарке.

Вдруг мне пришла мысль незаметно скрыться из дома и направиться на эту ярмарку. Направление мне было хорошо известно, потому что это был большой тракт, и хотя по этому тракту и был страшный бор, но я надеялся, что меня пощадят волки.

Я не любил откладывать и в детстве то, что было решено и обдумано, и помню, в то же утро, в которое мне пришла эта счастливая мысль, исчез из дома, захватив с собою только палку.

Обойти село так, чтобы меня не увидали, было делом знакомым; дальше шел тракт, большая дорога, и я смело направился по аллейке, где я еще ранее видел торную тропу. Малиновая гора была мною взята лихо, поля прошел я припеваючи, и только при входе в бор мне стало жутко, но меня вывели из этого затруднения обозы, с которыми я, помню, тихонько и прошел это опасное место, хотя меня всего занесло пылью.

Так, с обозом, крадучись от волков и разных неприятелей, я спокойно дошел до самого села, довольный, что так благополучно кончилось мое путешествие.

На ярмарке я нашел своего отца. Он, давно меня не видя, очень мне обрадовался. На вопрос его,—с кем я сюда попал, я сказал, что с попутным. Мне дали денег, я отправился на ярмарку и так нагулялся там, что, казалось, совсем забыл про то, что все это должно скоро открыться.

Но открылось это только на другой день к вечеру, потому что меня искали всюду дома. Меня не досчитались вечером, когда было уже поздно. Меня звали, меня аукали,—но я не появлялся; меня искали по всему селу. Все говорили, что меня совсем не видали. Была послана повестка в волость; была послана целая экспедиция на розыски, но меня не нашли ни в реке, ни в колодце. Кто-то, сказывали, даже лазил

нарочно ночью на колокольню, и, говорят, мама просила даже ударить в колокол...

Ночь прошла в полном беспокойстве: мама плакала; и всеми овладело полное отчаяние и ужас, когда кто-то сообщил, наконец, что меня видели в лесу...

На другой день, когда я уже позабыл про свое путешествие, явилась на ярмарку мамаша. Она мне очень, повидимому, обрадовалась, и только, помню, приняла единственную меру, чтобы я снова куда не скрылся, — окончательно лишила меня козловых сапог и оставила меня босым в комнате.

Я спокойно покорился такой суровой мере и вечером так и отправлен был под „конвоем“, на босу ногу, словно настоящий бродяга.

Но дома меня встретили довольно сурово: никто не хотел мне простить тех лакомств, которыми я насладился на ярмарке, и с тех пор прозвище „бродяга“ уже окончательно было укреплено за мною, против чего я несколько, впрочем, не возражал.

Таковы были путешествия моего детства.



то было во дни моего юности, когда я еще учился. На каникулах, вместо того чтобы ехать за шестьсот верст (часто обозом) к родителям, я предпочитал забраться куда-нибудь в глухую лесную деревушку Зауралья и там провести половину лета.

Наймешь в ней за бесценок горницу себе с окнами прямо в сосновый лес, устроишься с харчами самым дешевым образом и отдашь всю природу.

Благодать! Своего рода дачное помещение! Чувствуешь себя полным хозяином и взрослым человеком. Тоскливо порой только в праздники, когда вспомнишь родных, но зато в будни — покой и полное тебе раздолье!

И я действительно как-то весь погружался в окружающую природу.

Пойдешь ли с ружьем за рябчиками, за тетеревами, — шляешься весь день с краюхою хлеба в кармане и воротись-ся домой в квартиру свою такой усталый и счастливый.

Отправишься ли по грибы,—не воротись до самого вечера без того, чтобы не выбродить бора и не набрать полной „пестерюхи“ (корзины). Но больше всего забавляла меня рыбная ловля, и если пойдешь к реке, сядешь на челнок, затянешься куда под коряжину, то не выедешь оттуда до самого позднего вечера.

Даже рыболовы и те удивлялись моему терпению и только говорили:

— Ну, Митрич без рыбы никогда не воротится. Был бы крестьянином, славный бы из него наш брат — рыболов вышел.

И я в самом деле часто возвращался с ведром науженной рыбы и удил такими запоями, что после долго еще река мерещилась мне во сне, и я вздрагивал, просыпался даже, ясно чувствуя и видя поклевку.

Летом народ был занят в деревне. Никто мне не мешал в моих любимых занятиях, и если стеснял кто немного, так это бабы какие-то уже очень сердобольные, которые говорили:

— Не ходи ты, Митрич, далеко по лесу: долго ли нарваться на медведя!

И только этот медведь, зверь еще мною невиданный, немного смущал меня, когда я забирался далеко в чащу, и мысль о нем подчас бросала меня то в жар, то в холод.

Но скоро я нашел себе товарища, парня одних лет со мною, который — жаловались на него — „совсем отбился от семьи и домашних работ, как только спознался с ружьишкой“.

Этот парень в вечной своей посконной рубахе с дорожками и в какой-то сермяге с оборванными рукавами и желтым поясом часто запросто заходил ко мне как к товарищу, то идя на охоту, то с охоты.

Он так же, как и я, не ходил попусту, и когда возвращался с своего промысла (он часто утягивался на охоту на самой заре, а я любил-таки понежиться в постели), то у него вечно за пазухою был или чирок, или нырок какой с косичкой нарядной, или селезень, или свиязь. И мы подолгу разглядывали этих красивых нарядных птиц утиной породы, на деле изучая орнитологию (науку о птицах). А сколько рассказов при этом об охоте! Передо мной раскрывалась целая книга природы.

Добавлю, что звали этого моего нового деревенского друга Христофором, и что он был высок ростом и собою приглядный.

Так жил я уже месяц-другой в этой лесной деревне, как случилось нечто в ней неожиданное: медведь задрал корову.

И когда весть об этом облетела деревушку, то все бросились к месту происшествия. Побежали и мы с Христофором, потому что не отставать же нам, ярым охотникам, от девок, ребят и народа.

Место было не за горами, всего в какой-нибудь версте расстояния,—и мы живо поспешили на опушку бора.

Действительно, пестрая соседская корова оказалась задранною, и вымя у ней выедено. Хозяйка причитывала над ней; хозяин посматривал, нельзя ли хоть воспользоваться ее драною шкурою, а ребята смотрели издали, не решаясь подойти поближе.

— Чего вы боитесь, желторотые! — крикнул на них Христофор, пользуясь случаем показать себя заправским охотником.— Ведь это не медведь, а корова.

Ребятишки при этих словах как будто стали смелее, но все же продолжали держаться от задавленной коровы на почтительном расстоянии.

Когда схлынул народ, мы с Христофором только переглянулись, затем отошли в сторону и завели, как настоящие охотники, тихий разговор:

— Ты что, Митрич, думаешь? Ведь надо будет промышлять медведя-то.

— Надо бы...— ответил я, озираясь по сторонам, нет ли поблизости медведя.

— Ты пойдешь со мною вечером? — вдруг спросил Христофор, пытливо заглядывая мне в глаза.

Я отвернулся и ответил:

— Чтож... я бы ничего, да знаешь...

— Ты не бойся, Митрич, мы устроим лабаз с тобой.

Я сделался податливее.

— Такой лабазище устроим, что он не достанет нас, а если полезет на дерево раненый, то мы обрубим лапы ему топорами.

Я окончательно сдался на эти доводы, и мы улаживаемся сегодня же сделать лабаз, а вечером засесть в нем караулить с ружьями медведя.

— А придет ли он опять сюда? — выражаю я сомнение.

— А как он не придет? К чему тогда он драл ее, эту пестрену Сазановых? Ты видишь, только крови напился он да закусил выем. Беспременно должен притти опять: он ни в жисть не будет есть свежую, ему нужно стерво!..

Это „стерво“ окончательно убедило меня, и мы решили с Христофором сегодня же днем устроить надежный лабаз между сосенками, на опушке, вблизи этого, уже пахнувшего, „стерва“.

— Только ты, Митрич, молчок,— говорит мне Христофор,— чтобы никому ни слова. Это такое дело важное. Боже сохрани, если узнают в деревне! Живо сглазят тебя, — не видать нам и медведя!

Действительно, днем мы сделали маленький лабаз между тремя тонкими соснами и отправились как будто в луга за чирками в ближнее болото, но на самом деле проверить, пристрелять там наши пистонные ружьишки, заряжая их на этот раз здоровыми зарядами и пулями.

Мы раз десять пальнули там в пенёк и достигли того, что наши пули вонзились в него и глубоко в нем засели. Мы даже смерили палочкой, глубоко ли они вошли в это дерево, и решили, что одной пули вполне достаточно, чтобы свалить лесного великана наповал.

Перед самым вечером, когда мы еще советовались с Христофором относительно разных случайностей предстоявшей охоты, ко мне в горницу вошел Игнашка. Игнашка тоже был охотником, но так как ружье у него было кремневое, то он не особенно часто приглашался нами в компанию, тем более что и стрелял незavidно, с левой руки, будучи с малолетства кривым на правый глаз после оспы.

Сверх обыкновения, Игнашка на этот раз не заискивал, а как только вошел в мою горницу, тотчас же заявил решительным голосом:

— Чего скрываете? Думаете, Игнашка не догадается? Кто сделал лабаз на стерве сегодня на опушечке?

И он рассмеялся.

— Да ты разве был на опушке, Игнашка? — спросил опешивший Христофор.

Но тот ответил как-то уклончиво:

— Был ли, не был ли, а от товарищей нечего скрывать: корова еще не ваша.

— А чья? Твоя, что ли? — процедил Христофор.

— Вестимо, моя! — твердо ответил Игнашка. — Ведь Сазанов дядей мне приходится, а Сазаниха — теткою! Еще пущу ли я вас теперь на это стерво?

Охота как будто расстраивалась самым неожиданным образом; но дело уладилось: Игнашка только пугал нас своею отвагою, видимо, не желая уступать нам шкуры медведя. Он даже уже вымерил каким-то образом эту шкуру неубитого медведя и оценил ее не менее как рублей в восемнадцать.

— Уж и восемнадцать!— заметил ему на это Христофор.

— Убавь хоть на десять, пока ты не убил медведя! Не видел разве я следов-то? Так, немудряшный медвежишко.

Я только подивился хитрости Христофора. Еще за полчаса он уверял меня, склоняя на охоту и видя мою нерешительность, что придет громаднейший медведь пудов не менее как на двадцать, если не больше, при чем прибавлял:

— Чур, убьем пополам! Верных в городе возьмем с тобою 20 рублей.

Дело кончилось тем, что мы впустили в пай будущей шкуры медведя Игнашку и условились, захвативши топоры и ружья, этим же вечером сойтись за последним гумном.

Я не буду описывать мои душевные волнения, когда я собирался в это опасное предприятие.

Однако, как ни билось мое сердце, я никогда не мог бы изменить товарищам. Я вышел из дому, и у меня на сердце сразу стало как-то тихо.

„Только решиться“,— думал я,— „только набраться бы храбрости... Если полезет,— топором его по лапам!“ И я сжимал в руках и ружье, и топор, почему-то более доверяя последнему, чем моей пистонной дробовочке.

На гумне меня дожидали уже мои товарищи, и как только я показался из-за угла последней избы, Христофор, не говоря ни слова, тронулся вперед большими шагами.

Добежать до опушки было делом нескольких минут; от нее мы тихонько, с разными предосторожностями, тронулись вглубь, чтобы обойти немного „стерво“.

— Смотри, ребята, в оба: не тут ли зверина-то! Мы запоздали, надо быть, и как бы на него невзначай до лабаза не нарваться,— сказал таинственно Христофор.

При этих словах у меня мороз пошел по коже.

Но в лесу была мертвая тишина, и мы только испугнули какую-то уже заснувшую пташку; она жалобно запикала и шарахнулась в сторону из-под ближнего куста.

— Нет еще,— ответил тихонько, уже спокойным голосом Христофор, когда птичка затихла.

— Лезь, ребята, на лабаз скорее!

Игнашка первый полез вверх по сосне, по ее обломанным нарочно нами сучьям. За ним поскорее полез и я, чтобы не оставаться одному внизу. Не спеша, вслед за нами, подавши нам предварительно топоры и ружья, взобрался и Христофор, и полати наши, сделанные из сосновых тонких жердочек, между сучечками тонких сосен, как-то подозрительно согнулись.

Но и тут нашелся храбрый Христофор, тотчас же распорядившийся сердитым голосом:

— Чего лепитесь все на жердочки? Ты облапь сосенку ножищами, не бойся, медведь тебя за них снизу не ухватит: высоко. А ты, Митрич, ложись по середке на брюхо и клади рядом свое оружие. Я тоже облаплю сосну.

И через минуту осторожного облапливания и усаживания мы были уже на месте.

Я лежал на каких-то тонких жердочках, животом вниз, положив свое ружьишко, Христофор поместился слева от меня, у ствола сосны, а Игнашка — по правую руку, усевшись на сучке дерева, ровно сыч какой.

Мы затихли на время, словно изучая свое положение, высмотрели еще раз корову, которая видна была в виде темной туши саженьях так в семи от нас, на площадке,

между высокими деревьями, и Христофор закурил свою цыгарку.

— Кажется, на лабазах не курят,— заметил я ему, вспомнив описание подобной охоты в каком-то журнале.

— Ничего,— ответил он,— еще рано теперь, пронесет ветерком. Медведь придет разве только к полночи, а теперь только что зашло солнце.

Действительно, в лесу еще только были сумерки, но сумерки какие-то неприятные; с каким-то туманом по земле, сыростью, с запахом уже порядочно разложившегося мяса.

Лежим. Тихо кругом, и нет-нет в дрожь кинет тебя от одной мысли о медведе, уже приближающемся к корове,— и зашевелиятся под шапкой волосы, а тут еще где-нибудь свалится старая шишка, пробежит где какой зверек, прошуршав подозрительно травую,— и невольно хватаешься уже за топор и ружье, не зная, что делать. А тут еще комары проклятые, которые нет-нет да зажуужжат тебе под самое ухо, когда трудно пошевелиться на лабазе, и больно так укусят в лицо, или ходят по твоему затылку.

А ночь медленно надвигается; сумерки становятся темнее, ближайшие деревья стоят уже темные, слившиеся с мраком. Вместе с этим мраком на сердце спускается тревога, и слез бы даже с лабаза, признался бы в своей трусости, но теперь сделать это уже невозможно.

Быть может, у коровьей туши тебя давно уже, притаившись, поджидает медведь... И рука уже не выпускает оружия, курок взведен, топор ощупан,— тут ли под боком, на месте.

Но вот становится как будто светлее в лесу, и Христофор шепчет тихонько:

— Луна выкатывается! Смотри теперь в оба, ребята, не плошай,— живо медведь на стерво нагрянет.

И мы снова затихаем на своих местах.

Но взошла луна, светло стало между высокими соснами, засеребрилась покрытая росой травка внизу; загорелось-заискрилось что-то, как будто играя брызгами, и на сердце стало гораздо легче.

Вдруг что-то между сосновыми стволами хрустнуло и как бы мелькнуло искоркой. У меня даже остановилось сердце на секунду. Смотрю — огонь, маленький, неподвижный огонечек.

„Медведь, думаю, слышал нас и остановился неподвижно... смотрит... Но почему один у него огонек в глазах?.. Не понимаю...“

Толкаю потихоньку Христофора ногою и, когда он нагибается ко мне, шепчу ему:

— Смотри, между стволами медведь... глаза у него огоньком горят, он смотрит!

Я чувствую, как Христофор дрожит, — не знаю, от страсти охотничьей или от страха, — направляет туда, между стволов, свою дробовку.

— Постой, не стреляй! — загорается во мне, в свою очередь, охотничья страсть; — пусть придет он на самое стерво.

Христофор утягивает обратно ствол ружья, и мы затихаем.

— Гнилушка, должно быть, теплится, — шепчет он через минуту.

И странное дело: после этого пережитого волнения страх во мне совершенно пропадает.

„Совсем не страшно на лабазе“, — думаю я. — „Непременно напишу об этом моей мамаше. Вот бы убить медведища, — непременно бы привез его и показал сестренкам“.

Гнилушка, действительно, оказалась гнилушкою: рядом затеплилась другая, около нее третья, немного погодя,

когда лунный свет положил на них тень от высоких громадных стволов.

А луна была уже высоко, над самыми вершинами, и лес, трава и белый мох словно загорелись при свете ее разными отблесками, рядом с темными и длинными тенями деревьев. И при этом полная тишина, как бы заснуло все.

Меня стало клонить ко сну, и я задремал, лежа на лабазе, как-то незаметно.

Просыпаюсь от неловкого лежания, — онемела нога. Всматриваюсь испуганно по направлению „стерва“: пока ничего не видно. Но слышен храп и посвистывание носом моих обоих отважных приятелей, и я решаюсь разбудить одного, дотрагиваясь до него тихонько сзади ногою.

— Ух! — ухает во все горло Христофор, забывший, что он на лабазе, и, схватив впопыхах ружье, готов уже стрелять, полагая, что я увидал на корове медведя.

Когда дело разъяснилось, он вздохнул и сказал:

— А я думал медведь меня уже тянет за ногу, — так испугался.

Решили прекратить посвистывание и Игнашки, но он только спросонка ругался:

— Отстань... ну, тебя!.. Да разве я сплю? — и, видимо, думал, что он спит на полатах.

Так мы и не могли разбудить его, решивши ожидать медведя уже вдвоем, что было нам теперь, пожалуй, и на руку.

Но медведь не приходил. Ночь перевалила уже далеко за полночь, судя по месяцу, который обошел нас почти кругом, теперь закрыв нас густою от дерева тенью.

Казалось, этой ночи не будет конца, время тянулось страшно медленно; с ближайшего болота понесло на нас холодною сыростью; но в сосновом бору было тихо. Только порою прокричит где сова, или завозится птичка какая

со сна, быть может, встревоженная ночными хищными зверьками.

Ожидать становилось все труднее: чувства притуплялись как-то с приближением свежего утра; я стал равнодушным ко всему окружающему и скоро заснул.

Мы проспали на лабазе все втроем благополучнейшим образом до самого утра. Я проснулся с Христофором только при словах Игнашки, который довольным голосом закричал нам под самое ухо:

— Чего спите, охотники?.. Проспали ведь, ребята, мы медведя-то: корову-то ведь он съел уж всю!

Мы живо воспрянули и действительно увидали только рога да шею несчастной коровы. Все было съедено медведищем. А мы и не слышали!

Мы с Игнашкой не особенно были огорчены таким открытием, но Христофор ворчал:

— Кто его знает, что нашло на меня — заснул! Ведь всю ночь не смыкал глаз, все глядел на стерво это, когда вы спали. Должно быть, он слышал нас и пришел уже под утро, когда мы крепко заснули.

Мы спустились с лабаза и побежали домой.

Днем опять меня звал Христофор караулить медведища, говоря, что он непременно застрелит его сегодня ночью, но я отказывался, говоря, что зверь не придет в эту ночь, потому что вдоволь, когда мы спали, наелся и сыт.

Охота расстроилась. В деревне на другой же день узнали про нашу охоту и про то, что мы проспали медведя на нашем лабазе, и нам нельзя было глаз показывать на улицу, чтобы над нами не смеялись девки. Но ребяташки прониклись к нам уважением и, встречая нас затем с ружьями, говорили:

— Должно, опять на медведя отправляются, скоро притащат его в деревню!

Через неделю, примерно, медведя, действительно, притащили в деревню мертвого; но только он достался не нам, охотникам, а Федоту из соседней деревни, который, прознав про нашу участь горькую, поставил на „стерво“ капкан и попавшего в него зверя добил винтовкой.

Когда я увидел шкуру медведя, действительно громадную, то только поблагодарил судьбу, что он не слышал нас тогда на лабазе.



только что тогда начал путешествовать и, помню, жил

один-одинешенек с своею лайкою, с своими инструментами

и планами в маленькой зимовке,— скромном деревянном домике на берегу быстрой и многоводной реки Сылвы, которая быстро катила свои светлые воды под самым окном моего кабинета.

Случалось, встанешь ранним утром, подойдешь к окну, а под окном в воде, как ни в чем не бывало, плещется стадо серебристых язей, что-то добывая своим толстым носом у самого берега, или плавают, ныряют утки-нырки, несколько не думая о присутствии человека. Так и застынешь пред такою картиною, прижмешься к косяку и долго сидишь, наблюдая жизнь этой привольной природы. Ни звука часами со стороны реки, ни движения около одинокого домика, только белый туман медленно поднимается клочьями, только

ярко-ярко светит солнце... Поднимется туман, умоеся лес мелкими брызгами, и за рекой, саженьях в ста расстояния, словно выплывает из-за тумана белый, берестяной чум вогула. Это — летнее жилище моего проводника, вогула Саввы, маленького добродушного старичка, который тоже одиноко живет там за рекой в своем берестяном жилище вместе со своею бойкою внучкою Соломеей. Соломея эта и стряпает, и кормит меня, а старик доставляет мне провизию: то жирных громадных темных карасей, то разную ягоду, грибов и уток.

Бывало, проснешься ранним утром, а на окне моем уж ягода черника к чаю. Чья добрая рука набрала ее, поставила тихонько, чтобы не разбудить меня, не знаешь; но стоит заглянуть за окно на мокрый песок на берегу, а там — или толстые следы старика, или тонкий остренький, маленький след его внучки.

Она редко бывала у меня; но зато, когда приезжала с отцом, то в домике моем пахло настоящими гостями. Сейчас же чаепитие, тотчас же чарка для бедного старичка, страдающего вечно поясницею, и лакомства для внучки.

Но уедут мои веселые гости, отчалит, скроется их лодочка,— и мы снова одни с нашим Лыском.

Это мой телохранитель, верный пес, стоячие уши которого вечно в каком-то прислушивающемся движении, по которому можно сразу угадывать, о чем думает пес и что слышит он подозрительного. Чутье у него было поразительное: стоило только сесть где тетере поблизости на дерево, как Лыско уже поднимался, тихо выскальзывал из комнаты и минуты через две уже лаял, лаял звонким тонким голосом, по которому тоже безошибочно можно было узнать, лает ли он на рябчика, пролетевшего глухаря, или просто подлаивает серую белку. И раз подлаивал,— нужно было

обязательно снимать двухстволку и отправляться на охоту, иначе он извел бы вас, пролаяв у дерева весь день, пока не улетит заслушавшаяся его тетеря.

Он был также незаменимым сторожем ночью. Дело в том, что около самого моего домика была тропа медведя. Куда он ходил каждую ночь, я не знаю до настоящего времени, но я ясно слышал его потрескивания по сучкам. Частенько он на минуту останавливался в пути и чуть ли не перед самым нашим крыльцом, которое выходило прямо в лес. Словно зверь раздумывал каждый раз: зайти-ли проведать нас, или лучше оставить еще до времени... Когда он шел, потрескивая, Лыско только вылезал из-под кровати моей с тревогою; но, когда тот останавливался, пес начинал ворчать и с таким выражением, что я брался за ружье и посматривал на окна. Но медведь проходил, и мы снова укладывались, как ни в чем не бывало. В конце концов мы так привыкли к этим посещениям, что уже не обращали на них внимания. Да и некогда было особенно думать о них: летом дни такие долгие на севере, притом было столько работы, что рад добраться до кровати.

Однажды является ко мне Савва с внучкою, чем-то озабоченный. Я угощаю его водкой, но он отказывается; угощаю чаем — не пьет.

— Что такое, старик,— спрашиваю я его,— что у тебя за горе?

— Горе и есть,— отвечает он задумчиво,— надо бы вот карасей ловить на озере,— теперь самый ход,— а один не смею. Тоскливо как-то одному ночью на озере да и работы много.

— Возьми меня,— говорю ему, давно уж сам подумывая назваться к нему на рыбную ловлю.

Старик даже восторженно от радости.

— Только,— говорит,— возьми с собой на случай свою винтовку.

— Зачем? — спрашиваю; но старик не ответил мне при внучке.

— И Лыска, собаку свою, оставь в комнате: какая уж ловля с собакой!

Мне не хотелось Лыска оставлять в доме, чтобы он без меня как-нибудь не поссорился с ночным посетителем, но старик утешил меня, говоря, что собака и одна прекрасно ночует.

Я послушался старика и к этому же вечеру стал собираться в ночную поездку.

Внучка нам настряпала брусничных пирожков; я захватил с собою фляжку крепкой водки, свой дорожный чайник, сковородку для карася; старик наложил полный нос своего челнока сетей, и мы отправились в дорогу.

С грустью провожала нас девушка с Лыском, который даже повизгивал, видя, что я отправляюсь с ружьем на охоту. Но промелькнул мыс один,— и ни домика, ни белого чума с знакомою детскою фигуркою; мы одни на просторе тихой реки, обрамленной темным хвойным лесом.

Люблю я северные реки, тихие, молчаливые, неизвестные в своем просторе, что ни плесо, то открытие, что ни изгиб реки, заворот,— островок какой, все ново и таинственно словно тут не бывал еще человек, не оставил еще следа по себе, даже старого забытого кострища. Вода и лес, темный молчаливый лес с громадными кедрами, соснами и елями, которые кое-где нависли над рекой и готовы упасть в ее воды. И вдруг за поворотом веселый желтый бережок, возвышенный, с веселым чистым, ясным сосновым лесом. Сосна к сосне, как свечи восковые; желтые вершины высоко, высоко и шумят, как будто вечно шепчутся, а внизу на

земле не трава, не земля, а белый мох, как ковер какой, одевший землю; и кажется, нет тут только человека для поселения, чтобы в воду эту тихую гляделась деревушка...

Так бы и поселился здесь с кем-нибудь, так бы и жил, ни о чем не думая... Проедешь этот лес, как будто нарочно выглянувший из темного необозримого пространства, и снова темная ель, кедры пушистые, поваленные уродливые деревья. Только рябчик разве запоет где близко, сидя на дереве, запоет песню свою короткую, как будто обрадовавшись, что слышит человека. И снова тишина и покой, снова река и берега ее лесистые, безмолвные, и так на сотни, на тысячи верст.

Но мы не долго плыли этой рекой, верховья которой еще неизвестны географу: старик неожиданно пристал к низкому берегу, где я заметил следы человека. Это был маленький березовый балаган с кольями, воткнутыми в песчаный каменистый берег; рядом с ним следы огня и срубленное дерево, которое, как срубил его несколько лет назад старик, так и лежало тут обугленное немного от места разруба.

— Тут мы поедим,— заметил старик и стал настругивать палочку, чтобы зажечь дерево и приготовить пищу.

Скоро показался дымок, вспыхнул огонь, и дерево загорелось весело, ярко, как горело уже не один раз в минуты посещения деда.

Этот берег, река и огонь представляли красивейшее зрелище, и я залюбовался на минуту; но старик не обращал ни на что внимания, мерно продолжал свою работу, то расстилая для сиденья ветки, то приготавливая немудрое кушанье из вяленой на солнце рыбы.

Молча мы поужинали на этом памятном берегу с дедушкой, молча напились чаю; затем, когда все излишнее

попрятали в берестяном березовом шалашике, старик заметил:

— Теперь пора на озеро,— солнце уже садится.

Действительно, с реки потянуло уже сыростью, и темный лес стал еще печальнее и сумрачнее. Мы вытащили челнок, сложили в него рыболовные сети и потащили его по узкой просеке к озеру, с которого доносился уже голос гагары.

— Далеко озеро, дедушка? — спрашиваю я, запыхавшись от работы.

— Рукой подать! — отвечал старик.

В поту дотащились мы до озера, которое глянуло на нас сквозь темные ветви.

Какое дикое, мрачное таинственное показалось мне оно даже после этого мрачного болотного леса! Берегов нет, лес вошел вместе с своими голыми корнями в самую воду; мох, лишай, камыши какие-то, темные, высокие и через них просвечивающие тихие, сонные воды. Над камышами лес, позади лес, впереди та же лесная чаща, что около, и кажется, она расступилась только затем, чтобы образовать это длинное, печальное озеро, где темная гладь воды так сочеталась с темнотой вокруг. И только мы вынырнули из этих камышей на лодочке, как тут же, возле, раздался вдруг пронзительный крик большой гагары. Я даже вздрогнул от неожиданности. Вслед за этим оглушительным сигналом, отдавшимся эхом в лесу, слышались сотни голосов других таких же гагар, которые все забили тревогу.

— Фу, пропасть вас возьми! — выругался я; но старик сосредоточенно как-то молчал, словно ничего не слыша.

Мы выехали на плесо, темное, чернеющее, и поплыли вдоль камыша дальше. На каждом шагу попадались гагары. Одни из них быстро спешили от нас в камыши, другие неожиданно показывались оттуда, ныряли, испустив предва-

рительно резкий крик, или появлялись под самым бортом нашей лодки, чтобы высунуть длинную свою шею и тут же нырнуть.

— Что их много тут? — спрашиваю я Савву, удивленный таким множеством гагар.

— Рыбное озеро... Рыбы тут заходит много в половодье, — вот они тут и питаются, — отвечает старик.

Какое количество рыбы нужно для этой плавающей армии, которой буквально кишит это длинное озеро с темными камышами! Мы проплываем его все, заезжаем в самую его куть и оттуда начинаем ставить свои сети. Оказывается, это совсем не трудно: поплавная тонкая сеть легка, как перышко; воткнуть в камыш конец, привязать его к тонкой камышинке — пустое дело, и сеть ровно спускается на воду, тонет в этой темной воде, намокая сразу, и сажень через десять — уже конец, который часто хватает до противоположного берега; там же, где озеро широко — соединяют две, три сети вместе. Через час можно уже осматривать, так как рыба во время нереста движется непрерывно по плесу.

Хорошо ставить такие сети; но еще приятнее их осматривать темными ночами! Человек словно крадется в этом полусумраке, словно хочет украсть у природы. Кругом мертвая тишина, гагары все попрятались, и вы тихонько, осторожно причаливаете свой долбленный челнок к виднеющимся поплавам и неслышно, тихо начинаете работу. Нужно перебраться тонкую мокрую тетиву от берега до берега. Вы ставите боком свою лодочку, беретесь за тетиву и начинаете тихо двигаться, подтягивая ее понемногу. Вот что-то как будто потянуло тихонько из рук тетиву; чувствуется колыхание рыбы; вы нагибаетесь, всматриваетесь; что-то всплеснуло вдруг на поверхности и снова погрузилось в

воду, и что-то заходило потом, забилося под самой рукою, производя волнение. Миг один,— и вы с замиранием сердца выхватываете сеть.

В лодке, на дне что-то темное, грузное, шлепающееся по воде, и вы шарите его руками,— карась, крупный, темный карась, который, как шел в этой воде и встретил сеть, так и запутался в ней, понадеявшись порвать это препятствие из тонкой, незаметной сети. Приятно вытащить его; но не особенно приятно выпутывать из сети! Он крепко засел в нее своею головою, еще крепче закусил своей громадной пастью и вдобавок обвинил ее вокруг своего толстого туловища, пока в силах бороться. А рядом с ним уже другой, третий, порою целая брачная компания. А лодка все бесшумно подвигается вперед, и под ногами у вас темные чавкающие рыбы, которые плавают тут же в челноке, хлещутся плавнями, щекотят ваши босые мокрые ноги и суются всюду, пока не выбьются из сил и не лягут бессильно набок.

Иной раз что-то страшно тянет вашу сеть, чуть не вырывая ее из ваших рук; кажется, попалась чудовищная рыба, как вдруг оглушительный крик,— и целый фонтан брызг у самой вашей лодки. Это запутавшаяся гагара, которую так и не вытащит старик, если не поспешит обрезать сети. Даже в жар бросит от этой неожиданности, сделается жутко вдруг от этого противного, жалобного крика. Так бы, кажется, и пришиб ее веслом; но старик относится к ней с опаской, словно это божество какое-то, сторожащее эти воды.

— Не надо трогать гагары: злая она и недобрая,— говорит он, и мы едем дальше.

А дальше прежняя история с жирными, толстыми карасями. Попадают такие караси, которые весят фунтов восемь.

С такими гигантами трудно даже справиться: они сильно тащат сеть еще в воде, глубоко с нею уходят под самую лодку, и только то, что они устали, запутавшись, позволяет с ними справиться.

— Тихонько, барин, потише вынимай карася,— шепчет старик, видя, как я едва не опрокидываю лодочку, вытаскивая сеть с карасями.

Сыро, холодно от нависшего тумана; руки уже заочнели, плохо слушаются, а карась идет все больше и больше к полуночи. Кажется, весь он вышел сегодня из камышей на прогулку по этому длинному озеру и гуляет по нему, наслаждается своим весельем. И мы не успеваем смотреть, не успеваем оглядеть свои сети: только что закончили конец, возвращаемся, как снова уже не видны поплавки: утонула от тяжести сеть с грузом. Карась как будто силой лезет в сети.

Раза два или три мы переполняли уж лодочку грузом, лодка глубоко садилась на воде, и тогда старик бережно, старательно направлял ее к берегу, у которого был его садок. Это было, как бы нарочно для него созданное, маленькое озерко, только отделенное узким, низким перешейком. Мы подъезжали к последнему и, даже не выходя из лодочки, выгружали, просто перебрасывая через него рыбу. Видно было только, как карась летел в воздухе, падал на воду и тут же скрывался в родной стихии.

— Как же мы словим их тут? — спросил я старика, когда мы выбросили первую лодку.

— А вот погоди,— отловимся, выспимся на солнышке и будем их неводить тут мережкой. Будет потеха с этим карасем, как мы вытащим его сразу в мережке маленькой. Один раз со старухой они и мережку у меня унесли,— такая была их прорва. И мы руками их долавливали, чтобы не попуститься, и рубахой.

— А бывает больше?

— Хо! — только ответил старик. — Бывает так, что не рад уж карасю, как он навалит на тебя в сети. Много его тут, недаром бьется птица, все ведь кормятся тут карасем. Сколько ест его выдра и рыба!

Так ночью, в тумане озера, мы ловили со стариком почти до самой полночи. Ночь спустилась такая сумрачная, невеселая. Плотный туман совсем закутывал и лес, и берега, так что не видно было даже ближайшего берега. Выгрузив в садок уже четвертую лодочку, мы отправились ловить на пятую, и я было уже призадумался, как будем мы таскать за версту жирных карасей, как вдруг что-то случилось.

Сначала как будто где-то дранина треснула, запела и замолкла. Старик мой выронил даже весло, — настолько неожиданно это было в мертвой тишине ночного воздуха.

— Дерево, лесина упала, — говорю я Савве, но тот молчит, словно застыл в лодке.

Как вдруг снова запела та же дранина. Старик мой встрепенулся, а у меня, казалось, пошевелились даже волосы.

Старик смотрит на меня вопросительно и шопотом говорит:

— Он пугает нас... Он тут живет... Ишь сердится, что мы явились в его место...

— Медведь? — спрашиваю я также шопотом.

Старик только кивает головой и берется за весло, говоря:

— Надо убираться!

— Может быть, пройдет, — замечаю я и явственно слышу, что зверь еще раз отдирает дранину, которая жалобно, жутко так звучит в тумане.

И вдруг рев, страшный рев раздается около, и что-то тяжелое упало в воду.

У меня сердце замерло, несмотря на то, что я — охотник. И от этого рева озеро как бы проснулось: из камышей повывезли гагары, заметались...

— Я говорю, сердится,— и старик взялся за весло, и мы тихонько, словно крадучись, поехали дальше от зверя.

Но только что мы отъехали, как зверь слышал нас и бросился на берег. Раздалось бульканье, затрещал камыш: медведь поплыл...

— Гребь, гребь скорее, барин!— говорит мне дедушка, и мы изо всех сил работаем веслами, чтобы забраться подалее от этого опасного места.

Отъехав с версту, мы остановились, запыхавшись. Прислушиваемся. Как будто уж нет никого: стало попрежнему тихо.

— Отстал,— говорю я Савве.

Тот только пригрозил мне пальцем, чтобы я не шевелился.

Прислушиваемся еще с минуту и слышим на берегу тихие шаги медведя, которого выдает только порою вода, когда он проступается в глубокую яму.

— Подкрадывается собака!— прошептал старик, и еще тише прежнего берет весло, отъезжает дальше от берега на чистое плесо и снова приостанавливается, пуская свободно лодку.

Стоим тут еще несколько минут. Ни звука.

— Припал, караулит... Не воротиться ли нам в узкое место?— продолжает старик, и, словно желая перехитрить медведя, отъезжает еще дальше, становится у самых камышей и начинает делать шум, как будто мы выходим.

Зверь только этого и ждал: слышно, как он с шумом бросается с противоположного берега и плывет через озеро в узком его месте.

Старик отталкивается неслышным образом, и мы плывем к противоположному берегу. А зверь уже на том берегу идет уставший и сердито отфыркивается.

— Что, устал, собака ты мохнатая! Отвяжешься же когда-то?— смеется тихонько старик, снова останавливаясь у камышей.

А медведь, уж несколько не стесняясь, шлепает по берегу, отыскивая, куда мы скрылись. И вдруг снова рев, оглушительный, страшный рев, который так и раскатился по лесу.

— Осерчал,— шепчет старик,— что не нашел нас на берегу... Так мы и вышли тебе, так и попались тебе в лапы, как оленята!

А медведь опять затих, словно прислушивается, соображает, куда мы скрылись... Затем опять поплыл в обратную сторону; слышно, как отпыхивается.

Я надумал сделать выстрел. Приподнимаю тихо винтовку, навожу в сторону зверя и спускаю курок.

Оглушительный выстрел, который сразу отдался в камышах, заговорил по лесу, рассыпавшись там мелкою дробью, и загудел, застонал где-то далеко-далеко.

— Что ты сделал?— говорит старик,— теперь он не отвяжется до самого утра!— И действительно, зверь не испугался, а как-то еще больше остервенился и стал преследовать нас упорнее. Теперь он открыто гонялся за нами, ломая на пути камыши и всякую лесину; открыто плыл через озеро с берега на берег; рывкал, ревел, драл мох своими лапами и снова бросался в воду, отыскивая лодку. Но мы тихонько скользили со стариком по озеру и держались так далеко камышей, насколько это было можно.

Теперь мы и не скрывались от него особенно. Старик громко ругался:

— Мохнатая скотина, собака лесная, ненасытная! Ишь человека пугать вздумал,— не заезжай на его озеро, не тут лови его рыбу! Хитер ты, а нет, хитрее тебя люди!

И медведь долго еще продолжал реветь, рывкать, плавать и пыхтеть, и я думал уже, что мы так протешимся сутки, как вдруг он отстал и сразу провалился куда-то, так что старик даже не заметил.

— Отстал, собачья голова, чучело мохнатое! Видно, наскучило плавать с берега на берег камышами!

Но торжествовать нам было еще рано. На другом конце озера громадное стадо гагар вдруг захлопало крыльями, зашлепало, загудело голосами. Раздались шум и плеск воды вместе с ясным ревом и пыхтением медведя.

Старик повернулся туда лицом и громко заругался:

— Ах, чтоб те разорвало! Ах, ты мохнатая скотина ненасытная! Ах дошлая собака! Ведь перехитрил, перехитрил! Слопает ведь, слопает собака!

И дед даже загреб в ту сторону, такая его брала досада.

— Что он делает, что он делает?— спросил я, видя, что случилось что-то особенное.

— Да ведь он в садок наш забрался, окаянный!.. Всех карасей приест, всех карасей!

И старик, не зная, что предпринять, сам взялся за мое ружье и ну палить в ту сторону, чтобы отбить хоть этим зверя.

Но медведь не унимался: он словно вымещал на бедных карасях злобу на нас и стремительно носился по озерку, чтобы взмутить там воду. Взмутил и сразу затих.

— А теперь что?— спрашиваю я опять деда.

— Что?— даже рассердился мой старик.— Лопает! Что станет делать, как не лопать! Взмутил, повыжил карасей и ест! Ест ведь, каналья, ест наших карасей!

Действительно, медведь ел карасей; было прекрасно слышно даже его чавканье,—и дед плюнул только с досады.

Долго медведь ел карасей, и долго мы болтались бесцельно по озеру. Но вот с рассветом зверь ушел, и мы отправились первым долгом проведать садок, чтобы определить убытки.

Увы!—от наших карасей остались одни только объедочки: на берегу валялись лишь хвосты да во мху затоптанные караси. А садок, бедный садок, был такой мутный и зеленый, как будто бы в нем только что выкупалось стадо медведей... Словом, полное опустошение.

Старик только хлопал руками, бранил медведя самыми отборными словами и качал головой.

— Постой, Савва,—говорю я,—у нас еще есть довольно ставленных сетей. Может, там попали хорошие караси!

Но и там ожидало нас разочарование.

Хоть бы один карась попал в сети! Словно они, заслышав ружейные выстрелы, шлепанье медведя на берегу, ушли окончательно в свои темные камыши, чтобы уже не показываться до самого утра. В сетях оказались только щука да еще запутавшаяся гагара, ради которой пришлось старику опять пожертвовать сетью. Вдобавок к этому он не досчитался пары сетей. Оказалось, в них попал медведь, переплывая озеро, и, разумеется, так с ними разделался на берегу, что от них остались только нитки. Словом, полный разгром, полная неудача на озере, какой не видал еще бедный старик за все время, как он тут рыбачил.

— Без ухи ведь оставил проклятый!—повторял он несколько раз, словно не мирясь еще с действительностью. Но я, видя, что старику страшно хочется ухи, предлагаю сварить ее хоть из щуки.

С голоду решаем сварить щуку и тащим лодку целую версту. Но на берегу — ни шалаша, ни котелка, ничего, что там мы оставили, чтобы не таскать напрасно. Очевидно, разгром и здесь.

— Ну, и подлец! Ну, и каналья мохнатая! Вон он что еще наделал! — разразился старик и чуть не заплакал от досады.

Нечего и говорить, что мы возвращались невеселые и голодные в этот день.

Под влиянием ли голода, или впечатления, произведенного медведем, но старик пустился в философию, по которой выходило, что не медведь виноват в его несчастьи, а он сам, так как давно уже не делал жертвоприношения тому таинственному божеству лесов, который властвует над рыбой.

Но я думал на этот раз иначе: я решил в первую же ночь подкараулить нахала и убить у самого дома.

Я залез с раннего вечера на дерево, но напрасно просидел на нем до самого утра: медведь не явился. Он так был сыт нашими карасями, что не показывался целую неделю. А когда стал вновь посещать мою зимовочку, то ночи стояли такие темные, непроглядные, что и думать было нечего его подкарауливать.

Поди, он и теперь еще бродит около этой покинутой зимовочки, вспоминая свой ужин!



Как же так? неужто
нельзя дальше ехать?

— Да так, барин, никак
невозможно: ростепель!—

Вы посмотрите, как реку-то вспучило...

— Да где же я у вас тут буду дожидаться?

— А вон у Сидора. У него свободная клетушка!

Так происходил у меня разговор, когда я, торопясь в одно зырянское село, на реке Печоре, вдруг неожиданно был захвачен распутицею. Приходилось поневоле остановиться в маленькой зырянской деревушке.

Сидор, угрюмый на вид, рыжебородый зырянин, охотно показал мне клеть, в которой меня особенно прельстили розовые, пахнувшие лиственницей, бревна.

Этот запах дерева, эти чистые еще стены и пол, новая печь, словно еще ни разу нетопленная, светлые стекла в окнах,— все меня так неожиданно утешило, что я с удовольствием решил остаться.

Через полчаса я уже был окончательно водворен на месте жительства. Вместо угрюмого Сидора появилась в клетки его скромная баба-зырянка, которая живо занялась протапливанием печи. А я сидел в переднем углу, за самоварчиком, который чудом каким-то нашелся и в этой глуши. Единственно, что меня стесняло,— это соглядатаи. Ребятишки решительно не покидали меня ни на минуту. Выйду ли я на улицу,— они следуют за мной; зайду ли я в свою квартиру,— они засматривают в окна, как на какое чудо.

Даже жена сурового Сидора, и та была возмущена беззастенчивым любопытством.

— Уйдите вы, пострелы этакие!— кричала она и грозила в окно.— Ужо, Андрюшка, скажу я твоей матери!

Но Андрюшка, стоявший в толпе, только пятился немного при этом напоминании о строгой матери и снова толкся у самого окна, заглядывая в него с другими ребятами.

Вдруг мне пришла мысль испытать одно средство чтобы избавиться от детского надзора. Я достал темные очки, которые я употребляю всегда весною в путешествии, чтобы защитить глаза от блеска снега; надел я эти очки и сразу оборотился к окну.

Эффект был поразительный: дети разом разбежались, а мы с хозяйкой хохотали чуть не до слез.

Но странно: после того, как убежали дети, я стал скучать и заглядывал в окно, будто поджидал их. И я решил после чая отправиться искать Андрюшку с его товарищами.

Ребят я без труда разыскал на обрывистом берегу реки. Но то, что они там делали, мне было совсем непонятно. Они сидели будто в засаде и зорко к чему-то присматривались.

„Играют в прятки“, — подумал я; но тотчас же разубедился в этом, потому что в той стороне, куда смотрели дети, не было ни души на вытявшем берегу.

— Что вы тут делаете? — ласково спрашиваю не заметивших меня ребят. Ребята было бросились от меня в сторону, но сразу остановились, видя, что нет на мне страшных очков.

Я погладил одного по голове, потрепал черноглазую девочку по щеке, и дети осмелились. Андрюшка, старший из них, наконец, раскрыл рот и проговорил смело на мой вопрос:

— Пуночек ловим! вон... птичек...

Я посмотрел в сторону, куда он указывал, и, действительно, увидел беленькое стадо снежных жаворонков, которых на Печоре зовут пуночками.

— Зачем же вы ловите их?

— Есть! Мамка жарит... Купец просит...

— Зачем же купцу нужны эти пуночки ваши? Он тоже ест, что ли их?

— Нет, не ест... ему шкурки надо... грош дает...

Я понял, что здесь скупаются торговцами шкурки и этих вестников весны, пуночек, как скупается и все остальное — и зверь и птица. Оказалось, что дети в огромном числе ловят этих птичек, и сами же сдирают с них шкурки. Это было их детским промыслом, жестоким детским промыслом.

И это жестокое дело сейчас же совершилось на моих глазах. Дети гурьбою бросились на ближайшую проталинку, стали ловить пичужек, давить их маленькими ручонками... Детский крик и птичий писк разом огласили воздух. Я поспешил туда и в первый раз увидел необычное зрелище.

Дети падали на запутавшихся в силках пуночек, хватали их; бедные пичуги пищали в их руках, разевая ротик с тоненьким белым языком, и бились крылышками, изо всех сил

стараясь вырваться на волю. Но их держали цепкие детские руки.

— Пойдите, пойдите, дети!— говорю я им.— Не жмите их, им больно!.. Что вы будете с ними делать?

— А вот что!— показал Андрюшка, свернув одним движением руки головку пуночке, отчего я пришел в ужас.

— Продайте мне всех ваших птичек,— говорю детям.— Почему возьмете? Только за живых, мертвых даром не возьму.

— Грош!— отвечал за всех бойкий Андрюшка.

— Идет! Сколько их у вас?

Дети сосчитали живых птичек, их оказалось восемь.

— Идет!— говорю я детям и, присаживаясь около них на траву, достаю кошелек из кармана.

Дети с жадностью заглядывают в кошелек, видя серебряные монеты. Начинаю рассчитывать, для чего потребовалось отсчитать копейки каждому отдельно: дети не доверяли при расчете друг другу.

Андрей, как старший из всего десятка ребят, осмотрел внимательно копейки и раздал их счастливым хозяевам птичек.

— Ну, давайте теперь мне по одной птичке! Только не мните их!

Андрей первый подал мне серую пуночку.

Я разжал ладонь, и птичка мгновенно улетела.

Ребята, казалось, не ожидали ничего подобного. Следили за ее полетом некоторое время, и только потом взглянули с удивлением на меня, думая, вероятно, что я нечаянно выпустил птичку.

— Давай другую,— говорю я Андрею.

— Держи крепче,— говорит он, и подает мне вторую свою птичку.

— Как тебе не стыдно: смотри, как ты ее стиснул!— говорю я ему и выпускаю и эту на волю.

— Зачем пускаешь?— сердито заметил мне Андрей.

— Я купил. Тебе какое дело? Ты ловишь,— я пускаю.

Дети не хотели было передавать мне остальных птиц, но я с ними живо объяснился.

— Зачем вы ловите их? Вам не стыдно и не жаль убивать птичек?

Они совершенно спокойно отвечали:

— Нет, не жаль. Их много...

— А мне жаль их, и я отпускаю.

— Нам что? Выпускай!— ответил мне один маленький паренек и даже посмотрел в свою ладонь, не улетела ли вместе с его птичками и его копейка.

Кончилась моя проповедь тем, что ребята решили ловить птичек и продавать их мне живыми.

— Так что! Покупай, если хочешь?— заявил Андрей,— выпускай, если тебе надо.

Ребята, забравши сетки и волосяные силочки, гурьбой побежали к деревне, чтобы сообщить странную новость про заезжего, выпускающего птичек на волю.

Когда я возвратился с прогулки по берегу, то опять встретил ребяташек, и они мне заявили:

— Копейку дашь за птичку, так носить будем! А то мамка не велела,— грит,— просите копейку.

Я не решился уронить себя в глазах маленьких дикарей, и обещал копейку.

Весь этот день я покупал птичек и выпускал их в окно.

Дети не жалели уж улетающих весело птичек, и некоторые даже задумались, видя, как иные, помятые, сонно сидят на раскрытом окне, разевая ротик.

Утром на другой день, только что я проснулся, как уже передо мною стояло у дверей моей клетки до десятка знакомых ребяташек-охотников, которые дожидались моего

пробуждения, чтобы показать товар, на который так поднялась вчера ценность. У кого в руках, у кого в шапке, у кого в корзиночке были бедные пуночки. Снова было раскрыто окно, снова, весело чирикавая, полетели пуночки.

Было отсчитано пятьдесят восемь копеек на всю братию, и такая уйма денег так огорошила ребят, что они с шумом бросились из комнаты, даже позабыв затворить двери.

В комнате только остался один Андрюшка. Я думал, что он нарочно не продает птиц, чтоб поднять еще цену; но он, оказалось, пришел с другими намерениями и спросил меня деловым образом, буду ли я покупать у него тетерю.

— Неси,— говорю я ему.

— Да она еще в лесу, в ловушках. Коли возьмешь, так пойду, ловушки далеко...

— А сколько ты хочешь за тетерю?

— Двадцать копеек!— вымолвил он.

У меня мелькнула мысль, и я предложил Андрею взять меня с собою в лес на ловушки.

— Так что. Пойдем! Пищаль есть у тебя?

Я показал ему на ружье, и через четверть часа мы отправились в лес смотреть ловушки.

Торжественно, с пищалями в руках, выходим из деревни и входим в лес.

Тихий бор, высокие с голыми толстыми стволами сосны, тихий шум ветерка в пышных вершинах наверху, белый снег среди деревьев, и полная тишина почти мертвого, недвижимого леса. И это сразу, тут же за деревнею, и мы словно уже в другом мире.

Андрей знает этот мрачный лес, как пять перстов на руке, и я спокойно иду за ним. Неслышно скользит он под этими зелеными сводами с винтовкою на плече, в коротень-

кой шерстяной вязаной безрукавочке, какие носят промышленники-зыряне.

Маленькая фигурка, но смелая; карапуз всего на аршин от земли, а уж промышленник-охотник; и я невольно проникаюсь к нему почтением.

— Это что? Как будто кто чиркнул?— спрашиваю.

— Это векша бегают; теперь она негодна,— отвечает он важно.

И я чувствую, что он привык уже к этим, едва слышным тревожным звукам соснового бора, и проходит мимо них равнодушно, спокойно.

— Скоро ловушки?— спрашиваю я, когда мы прошли версты две.

— Нет, что ты, далеко еще! Какая птица у самой деревни?

Я уже раскаиваюсь, что не узнал от него раньше про расстояние, и что, пожалуй, не выберешься к деревне и к вечеру. Но мне стыдно спрашивать об этом такого карапузика, и я покорно следую за ним.

Опять тишина, опять узкая тропа среди громадных желтых стволов сосен, и опять слабые звуки зверя и птицы: то вспорхнет где тетерька осторожная, приютившаяся на сучке дерева, то задолбит черный дятел.

Как вдруг мой спутник — проводник остановился.

— Смотри!— указывает он на снежную дорожку.

Я нагибаюсь и вижу, будто прошел по тропинке босой человек.

— Медведь!—И мальчик снова беззаботно шествует далее, не обращая внимания на след страшного зверя.

— Ты не боишься, Андрей?

— Зачем мне бояться зверя?— спокойно отвечает мальчик.

— Как зачем?— удивляюсь я:— а затем, что он нападает на человека.

— То нападает,— отвечает он резонно,— на охотника, который его бьет, а я еще его не тронул рукою. Медведь — зверь умный, он никогда зря на человека не бросается; бабу, девку ни за что не тронет; я его не трону, зачем он на меня полезет?

И это „я его не трону“ было так потешно слышать, что я невольно рассмеялся. Но рассмеялся так, чтобы не заметил мой Андрей, который сразу, как мы тронулись с ним в этот лес, из задорного мальчика превратился в серьезного охотника.

Так мы шли порядочно времени, пока тропинка не привела нас на обрыв какой-то речки. Места сразу сделались веселыми: увалы разнообразили местность; белый мох красил голую, обтаявшую землю.

Тут, на этих лесных увалах, с белым мхом в виде ковров, на припеке солнышка, и были расставлены у Андрея ловушки на птицу.

Около каждой ловушки земля расчищена, и по ней разбросаны ягоды калины, которая, как кровь, бросалась издали в глаза и манила к себе птицу. И стоило птице только увидеть эту лакомую приманку, как она бросалась на нее и попадала в ловушку.

В первой же ловушке мы еще издали завидели задавленного громадного глухаря, которого Андрей едва поднял с земли.

Андрей сел подле глухаря и стал любоваться.

— Старый! Нос-то у него уж почернел, не как у молодого! Лапы-то, лапы-то какие! Крылья-то-страсть!— И он осматривал его всего, раскрывал глаза, клюв, трогал за шею, осматривал обломанные о сучки когти, переворачивал

его на все стороны и с таким серьезным видом, что я на него залюбовался.

— Тебе не жалко этого глухаря?

— Чего его жалеть?— даже удивился он,— а как мамка-то обрадуется, сестренка!

— Обрадуются?— спросил я.

— Как же! Есть нечего! Ты думаешь мы богаты? Только я и кормлю мать с Парашкою, вот промышляю.— И это было так важно сказано, что я уже не смеялся.

Девятилетний мальчик исполнял уже обязанности кормильца семьи, ходил с тяжелою отцовскою винтовкою в лес, рисковал жизнью.

Мы обошли с ним до полусотни ловушек, которые ему достались еще от деда в наследство, добыли до шести штук тетерь и еще глухаря и в конце всего этого путешествия мой спутник нагрузил не только себя, но взвалил и мне четыре тетерьки и глухаря на спину.

И я тащил, тащил эту тяжесть и посмеивался, как меня нагрузил пользующийся случаем мальчик.

— Ну, а что бы ты сделал со всей этой птицею, если бы пошел один?

— Завтра пошли бы с Парашкой,— ответил он угрюмо. И ради этой, черноглазой знакомой мне девочки я тащил свою ношу уже гораздо легче.

Не легка жизнь зырянского мальчика! Недаром выходят из них такие сильные люди...

Мы только к вечеру дотащились до дома; у меня болели плечи и ныли ноги; но мальчик шел спокойно развалистою походкою и редко останавливался на минуту для отдыха. Все, что я нес, я купил у него за рубль. Но меня ждали еще новые расходы.

Только что я открыл клеть, как мне в лоб ударился

снегирь; потом на грудь пало сразу три или четыре снежных жаворонка, а там еще и еще... Я ахнул от множества летающих птичек: одни из них бились у светлого стекла, другие летали по углам, скакали по полу, кружились под потолком...

Дело в том, что дети, уставши меня ожидать и в то же время желая получить за каждую птицу копейку, просто оставили их в корзиночках у меня в клетки. Птички вырвались из корзиночек и платочков,— и моя комната представляла такое зрелище, как будто я занимался продажей певчих птичек.

Первым долгом моим было скорее отворить оконце. Птички массой бросились на свет и улетели. Но половина их осталась в комнате, испугнутая моим неожиданным приходом.

Пришлось вооружиться полотенцем и гнать их к окну; но птички долго не могли найти выхода. Пришлось ползать за ними под столом, под кроватью, под лавками и ловить их руками. В этом занятии и застали меня ребяташки.

Пришлось рассчитываться и, хотя в наличности товара и не было, но я думаю, что дети не погрешили против совести, и я отдал полтора рубля.

— Только с завтрашнего дня — чур не ловить!

— Ладно. Не будем, — отвечали дети, и радостные выбежали, зажавши деньжонки крепко в свои кулаки.

Когда я пробудился на другой день утром, уже при ярком солнышке, то первое, что увидал в своей клетке, — это ребяташек. Они стояли у самой моей кровати, дожидаясь моего пробуждения. И что меня поразило: у всех были радостные рожицы и в руках по птичке.

— Зачем вы ловите их? Вы же дали обещание не ловить.

— На! на! на!— ответили мне дети. И они все протянули ко мне зажатые ручонки с птичками, так что я не мог их всех взять сразу, и одна из птичек выпорхнула у меня у самого носа и метнулась к оконцу.

— Это тебе без денег!

Я расцеловал их всех, бросился к чемоданчику и роздал им все свои крендели.

Дети сами бросились к окну, отперли его, смеясь выпустили своих пленников, которых припасли для меня еще с вечера.

Они поняли меня, эти дети, и я видел по их блестящим глазам, что они рады тому, что птички улетели на волю. Разумеется, мы стали сразу друзьями.

После всех пришел ко мне Андрей. На нем была новая красная рубашка, которой он очень гордился. Я пригласил его пить чай, как раздался крик по деревне:

— Печора тронулась! Печора тронулась!— кричали ребята и бежали не на берег, а к моей клети и стучали в оконце.

Со стороны реки слышно было, как будто мчится железнодорожный поезд, или шумит мельница. Наскоро надеваю пальто, и бежим вместе с высыпавшим уже из изб народом на берег.

Действительно, Печора тронулась, и как-то сразу. Через реку образовались темные трещины и стали расти. Вдоль берега показались громадные изломы льдин; лед затрещал, стал колотиться по всем направлениям. Льдина полезла на льдину, лед то погружался, то всплывал. Иные льдины выставились вверх и, гонимые течением, плыли стойком. Вот громадная льдина вылезла на берег и разломилась; за ней полезла другая и третья. Мимо нас поплыли скоро обрывки дороги с дорожными вехами. Вороны, пользуясь случаем, тоже плывут мимо нас на льдинах, возбуждая смех ребятишек.

За воронами проплыли галки, поклевывая что-то на льду. Неслась пустая лодочка и какие-то бревна...

Вода замечательно быстро стала подниматься, как будто запружена была внизу. Берег залило в полчаса, льдины стали напирать выше и выше. Среди народа — переполох. Лед неся с стремительной быстротой уже небольшими льдинами. Вода, казалось, готова затопить и наш высокий берег.

— Зайца, зайца несет! — вдруг слышался голос Андрея, и он бросился стремглав под берег и побежал к группе мужиков, которые вытаскивали лодки.

— Заяц! Заяц! — закричали радостно ребяташки.

Я всматриваюсь и с трудом замечаю припавшего к льдине перепуганного, мокрого зайца.

Андрей громко что-то кричал там, внизу, на берегу. Мужики смеются; но вот лодка лихо двинута на мутную несущуюся воду; весла заработали. На носу сидел Андрей, готовый вскочить на льдину.

— Сочит! Сочит! — кто-то заволновался в нашей, затихшей при виде этой картины, группе.

— Ох! — ахнула толпа. Андрей действительно вскочил, только что лодка коснулась льдины, упал и, казалось, провалился на секунду в воду. В толпе раздался стон. Но Андрей быстро взобрался на льдину и начал бегать и ловить зайца; наконец, ему удалось схватить его.

— Словил! Словил! Молодец!

Лодка благополучно причаливает к берегу. Толпа бежит вниз, как будто сроду не видали зайца, и через минуты две заяц, мокрый, и дрожащий от испуга, уже на берегу, в руках Андрея, который быстро поднимается на обрыв и, сопровождаемый толпою ахающих ребяташек, отпускает зверюгу на волю.

— Ай-ай-ай! Я тебя, косоглазый! Лови его! Бери его! —

кричат и бегут за ним ребята, и заяц уже улепетывает, не оглядываясь, прямо в лес, сопровождаемый хохотом толпы, которая рада такому зрелищу.

Рассерженная мать Андрея бегаёт, хочет поймать героя нашего за Ухо, но он ловко увертывается.

— Ужо ты прийди, оглашенный!— грозит она ему кулаком.

Толпа вступается за него, говорят, что он — молодец, и гнев матери проходит,— она уже смеется со всеми вместе.

На другой день Печора была чиста. Лед несло только временами, и меня отправили к селу уже на лодке. Андрей взялся проводить меня в виде передового гребца. Ребятишки с нескрываемым сожалением шли со мной молча по берегу.

Я раскланялся с добрыми людьми, поблагодарил их за гостеприимство, наказал детям не обижать пуночек и отправился в дорогу.

Дети долго еще стояли на берегу, провожая странного человека, который отпускал пойманных ими пуночек, а пуночки всю дорогу вдоль берега пели что-то мне, заливаясь веселыми, звонкими голосами.



то было на реке Щугоре, притоке Печоры.

Случилось так, что меня покинули в Уральских горах мои проводники—вогулы, и я должен был

сделать себе маленький плотик из сухого дерева в сажень длины, укрепить на нем пару колышков с перекладинкой, чтобы пристроить свой багаж, посадить на него единственного своего спутника — вогульскую лайку Лыска, и так пуститься по горной, бурной реке, на расстояние более трехсот верст, пока не встретится мне какой-нибудь рыболов зырянин, или пока не попаду по этой реке в Печору.

По крайней мере, так утешали меня мои проводники — вогулы, ни за что не решавшиеся, из боязни очутиться в „русской земле“, сопровождать меня далее Уральского хребта.

На дворе стояло настоящее лето, шли двадцатые числа июня месяца, были светлые северные ночи, и я решился.

Вот на этой-то бурной реке, которая не раз смывала меня с Лыском с маленького плотика, которая не раз заставляла меня бороться с водою, я и встретил на четвертый день пути неожиданно партию рыбаков, которые стояли на биваке.

Еще ночью, находясь на расстоянии трех-четырех верст от них, мой Лыско обнаруживал какое то мне непонятное нетерпение: то бросался вдруг с лаем вперед, то убегал куда-то прочь, словно собираясь бросить меня, то снова прибегал и ложился возле меня на берегу у плотика, который я сторожил, чтобы он не уплыл с каким-нибудь приливом.

Я думал, что его заботит зверь: в лесистых берегах довольно было медведей; но оказалось, он слышал человеческое жилье. И помню, только что мы с ним рано утром напившись чаю с сухарями, тронулись на плотике и миновали перекат, как показался синий дымок, и слышался человеческий говор.

— Лыско! рыбаки, люди впереди! — говорю я, не веря глазам.

И Лыско словно понял меня и завилял хвостом.

Несомненно, на берегу стояли рыбаки: в это время, как мне говорили вогулы, они ловят семгу...

Но лишь только я показался из-за мыска, как в становище забежали люди.

Я поднял флаг на тонком шесте, которым все отпихивался от камней, попадавшихся мне на перекатах, но и это не успокоило жителей, а словно привело их в страх. Кто-то бросился было на лодку, кто-то в лес; слышался плач детей; но несколько мужчин, рыжих, бородатых, вышли

ко мне навстречу, что-то припрятывая позади, и стали дожидаться, что будет.

Я снял шляпу и раскланялся; мне ответили тем же, и через минуту-две я остановился у пристани и вышел с Лыском на берег.

Произошла молчаливая, осторожная встреча, и только тогда, когда узнали, что я русский человек, путешественник,—зыряне заговорили:

— Ну, здорово перепугал ты нас, барин! Виданное ли дело, чтобы по этой реке кто спустился с Урала на плоту, да еще с флагом...

— А что такое? — спрашиваю, недоумевая.

— Да наш брат, рыбаки, на лодке оттуда не решаются плавать, не только на таком плоту, как ты приехал. Прямо думали, что карачей-самоеды плывут, или надвигаются войною дикие вогулы. Только они в старину так плавали на плотах и нападали на наши деревни! Да, это бывало, только уже так давно, что мы и позабыли.

И добрые люди стали осматривать мой плот, как будто это была какая-нибудь достопримечательность.

Вскоре на берегу собралась целая толпа; все, раскрывши рот, глядели на меня, как на необыкновенное явление; все расспрашивали, откуда я, чей, и только после хватились, что я голоден, и повели меня к своим палаткам.

Палатки просто оказались шалашами, прикрытыми берестами и разными пологами, парусами, но очень просторными, так что, когда я сел на предложенное мне место посреди на шкуру оленя, то вокруг разместилась вся рыболовная ватага, которая никак не хотела отстать от меня и осматривала с ног до головы. После долгого одиночества я чувствовал себя в новом обществе так неловко, словно я попал не к русским людям, а к краснокожим индейцам.

Тут были женщины с грудными детьми, которые отворачивались при моем взгляде, тут были дети постарше, которые только отмигивались своими ресницами, тут были девушки, парни, мужики, и, казалось, то, как я хлебал, ел, пил, обращался с ложкою, было уже для них таким зрелищем, какого они раньше не видывали.

Утолив наскоро голод, расспрашиваемый все время про путешествие, я, наконец, перешел сам к вопросам.

— Что вы тут делаете? — спрашиваю я мужиков, которые подсели ко мне, как старшие, поближе.

— Рыбу ловим.

— Какую?

— Семгу больше. За семгой выехали, на семужьем, значит, промысле промышляем...

— И есть? Попадает?

— Не жалуемся: ловится. Вот если хочешь, не устал с пути, поедem ловить ее.

Я поспешил изъявить свое согласие, и рыбаки скоро стали собираться на ловлю.

К моему удивлению, собрались все, кроме нескольких женщин, на обязанности которых было домашнее хозяйство: варка котлов, приготовление и сушка одежды и обуви, и на руках которых были дети; и скоро на пустынном берегу реки, где лежали смоленые длинные лодки, оказалось такое движение и суeta, что я залюбовался.

Вскоре в лодки заскочили все, кто мог: девушки, женщины, мужики, парни, подростки, дети и даже маленькие ребятишки, словно предстояла какая-нибудь увеселительная прогулка.

Встали и похватали длинные тонкие шесты; одно движение, и лодки начали отходить от каменистого берега и поплыли вверх по течению, подталкиваемые одними

шестами. Ребятишки поместились на самом носу, набравши с собою целые подола камней и галек. Женщины и девушки выстроились с шестами впереди лодки, а сзади стали мужчины.

Меня позвал в лодку один широкоплечий, с рыжей бородой, мужик, у которого на носу стояла пара его дочерей девушек, и я охотно сел в его лодку, покинув и свой плот, и ружье, и бедного, недоумевающего теперь на берегу Лыска.

За нами тронулась и большая лодка с неводом, на которую село четыре человека с шестами и веслами.

— Куда мы едем? Далеко? — спрашиваю я девушек.

— А вот к тому перекату, — указали они руками.

— Зачем к перекату? — спрашиваю я, любясь их миловидностью и тою ловкостью, с которою они сильно, но плавно отталкивались шестом.

— А около переката и стоит рыба, мечется. Семга любит быструю воду и камни, — коротко пояснили они.

Но, не доезжая далеко до переката, через который я только что час тому времени переправился с своим плотом, партия лодок разделилась: тяжелая лодка с неводом пошла вперед возле берега, за нею тихонько тронулась половина лодок с нашей, а остальные семь остановились и вышли на берег в ожидании ловли.

Прежний разговор сразу затих, шутки и смех молодежи сразу сменились какою-то серьезностью, и мы, тихонько подпихиваясь шестами, потянулись гуськом к самому перекату, который уже явственно шумел своими каскадами, ворочая камни. Именно — ворочая камни, которые видно было, как шевелятся, подмываемые сильным течением.

Так тихо, молча двигаясь возле самого берега, мы проплыли с версту, пока не очутились у самого переката.

Он страшно ревел, скрежеща своими камнями; местами вода превращалась в пену, которая большими хлопьями расплывалась ниже его, прибиваемая течением к бортам наших лодок.

Раздался сигнал остановиться. Мы пристаем к берегу, и между рыбаками происходит какое-то таинственное совещание, словно они боятся кого беспокоить среди этого шума.

Затем все снова размещаются по лодкам и вооружаются шестами, и поперек реки, ниже переката, проворно поплыла на веслах большая с неводом лодка. И только что она двинулась, как стали из нее выметывать сеть, которую грузилами так и потащило книзу.

Сеть была живо перекинута через всю реку, и все лодки незаметно, быстро выстроились вдоль ее тетивы, которая была видна, поддерживая ее на весу, чтобы она не затонула.

Вдруг что-то белое как будто мелькнуло в чистой воде и понеслось по дну быстрой тенью.

— Семга! — зашептали девушки, которые теперь не сводили глаз с быстро мелькающих камней, словно плывших нам навстречу.

Но все старались попрежнему держаться как можно осторожнее; не качаться в лодке, не говорить, видимо, опасаясь испугнуть этим чуткую, бойкую рыбу.

Опять что-то метнулось возле самой нашей лодки, словно стремясь перескочить сеть. Девушки приподняли ее повыше и насторожились еще больше.

— Ну, и бойко? — прошептал за мной кормщик, который следил за всем этим в своем участке, шопотом отдавая приказания, где поднимать сеть, когда попадались навстречу камни. — Только прозевай, только подпусти — живо тебе перескочит через сеть и уйдет опять на волю.

— Отчего она не идет вниз? — заметил я на это.

— Вверх, к перекату ей надобно, туда она стремится, — ответил он. — Назад ни за что не пойдет, разве какая уже побывала в сетях.

Мы незаметно проплыли, следуя за сетью, полтора ста, двести сажен. Перекат уже остался позади, как навстречу нам из-за мыска вышла целая флотилия оставленных лодок, которая, правильно расположившись, словно корабли во время сражения, поперек реки, тихо надвигалась на нас.

Там тоже была спешная работа: дети кидали камешки, отпугивая рыбу вперед, мужчины с женщинами что есть силы напирали на шесты и весла; доносились крики и всплески весел.

— Что они там так шумят? — спрашиваю я девушек, которые теперь, не отрывая глаз, смотрят на воду.

— Рыбу гонят нам навстречу, — отвечали они.

— Заплывай влево! — вдруг раздался голос одного из руководителей. И обе лодки, повинувшись этому голосу, вдруг поворотили к правому, низкому берегу и стали сплываться. Образовали полукруг; лодки словно загородили течение, бросая теперь с криком камни в воду и шлепая что есть силы веслами; сеть потащили к правому берегу, и к ней пристали, словно громадные поплавки, все плившие навстречу нам лодки.

Образовалась живая, изогнутая стена; рыбаки надрывались, отдавая друг другу спешные распоряжения; дети, женщины, девушки кидали камни, шлепали веслами, и мы с шумом, гамом окружили всю сеть, теперь вытаскиваемую уже на отмель выскочившими на берег людьми. Вдруг что-то блеснуло в воздухе мимо самого носа нашей лодки и упало в воду.

— Ах, чтоб ее! Перескочила ведь прямо у носа! — крик-

нул мой вожак, и девушки удвоили внимание, еще выше подняли сеть и застучали о борт веслами.

Между тем в кругу, заключенном сетью, что-то завозилось; слышались всплески, что-то заблестело в мутной воде и ударилось сильно головою в самый нос нашей лодки, что-то заплескалось в сети у самого носа.

— Поднимай! Поднимай! — кричали мужики.

Дети, женщины, девушки пришли в какое-то неистовство, стуча по борту лодок; круг суживается, лодки, отплывая до берега, высаживают людей, которые не перестают держаться за сети; кто-то упал, кто-то выругался, попавши неладно ногой, — и вот мы очутились у самой мотни.

— Держи! Держи! Поднимай выше сеть! — закричали рыболовы. Невод с криком „ура“ быстро был причален к самому берегу, и в мотне завозилась, зашумела рыба.

— Глуши! Глуши, ребята, бойчее! Вот тут! Вон там! Вон она! — закричали распорядители, которые стояли у сети, и в воду побежали, засучивши штаны, все свободные рыболовы и стали бить по ней, поднимая брызги, деревянными молотками-глушилами.

На минуту, две все смешалось; видно было только, как в мутной воде металась рыба, показывались ее хвосты и головы, как удары сыпались со всех сторон; люди ходили по рыбе и потом стали выволакивать ее, оглушенную, но еще трепещущую, и бросать на белый песок, на берег...

— Нельму, нельму, братцы, какую бог дал! — кричит один, вытаскивая из мутной воды громадную, аршина в полтора рыбу, и ударяя ее по голове.

— Вот так семужка! — кричит другой, вытаскивая на берег и едва сдерживая движения большой рыбы. И я вижу громадную семгу с загнутым носом, которая так и искрится на солнце своими разноцветными крапинками.

Мотня, главная мотня, еще в воде, и там что-то колышется.

Вот и мотню вытащили ближе к берегу, когда выбили всю рыбу в самом круге.

В ней оказалось семь семг и три нельмы с мелочью. Произошла новая бойня, и я отворотился, чтобы не видеть этих взмахов деревянных молотов, которые с глухим стуком опускались на голову рыбы.

Минуты через три дело было окончено, и на песке рядами лежали громадные рыбы, которые только тяжело разевали свои пасти, обливаясь кровью. Здесь было десятка два крупных рыб, между которыми больше всего обращала на себя внимание семга. Яркие лучи словно сжигали ее белую с разноцветными крапинками кожу, и я видел, как темнела она под влиянием их, подобно желатинной пластинке.

Всю эту рыбу вскоре бросили в одну широкую кадку, и женщины повезли ее на бивак, чтобы чистить и солить.

Рыбаки покурили свои трубки, с полчаса весело поговорили на берегу и вновь отправились на следующую тоню, к следующему перекату реки, где повторилась та же история.

Я уже не участвовал в новой ловле, а остался наблюдать на берегу, забравшись на высокую, отвесную скалу.

Передо мной открылась чудная картина северной природы: изгиб широкой, бурной, шумящей реки, местами с скалистыми берегами; по берегам широкие отмели из галек и камня; целый ряд холмов вдоль берегов, покрытых лесом, и море елей, сосен, пихты, лиственницы, уходящее в высь и сливающееся с далекими, синеющими горами. Настоящая тайга, Сибирь, непроходимая, неизвестная, знакомая только одному промышленнику зырянину.

Я задумался и не заметил, как снова началась ловля.

Красиво было смотреть на нее сверху, с птичьего полета.

Словно флотилия какая, выстроились в ряд, загородив реку, нижние лодки, тихо подвигались из-за прикрытия берега на чистое, блестящее плесо; навстречу им, из-за мыска, быстро надвигался другой ряд стройных лодочек, с плывущей сетью; кормщики молчаливо правили лодками; женщины, девушки ловко перегибались, подталкивались на ходу шестами, опуская их бесшумно в воду; все шло плавно, обдуманно, строго. И вдруг два крыла стали съезжаться, соединяться правильным образом, и пошла атака на рыбу. Шум, гам, крики, шлепающие по поверхности воды весла удары шестами, и среди реки, прямо передо мной, образовался полукруг, где видно было, как заперта рыба, видно было, как металась она.

И снова шумный натиск на берег, снова плеск воды, удары глушила, снова рыбы на берегу, громадные, полуторааршинные, снова все смешалось в толпе, которая набросилась на мотню и тащила ее на берег...

Еще две подобные тони, и мы поплыли к лагерю, где горели уже костры, и женщины ждали артель с обедом.

Пылали костры; над ними висели объемистые котлы, темные от сажи; кругом стояли деревянные корытца, валялись ложки, хлеб,—словом, все было готово, и мы дружною семьей сели за этот рыбацкий обед, который приготовлен был весь из рыбы.

— Откуда у вас пироги? — удивился я, видя, как на стол подали горячие рыбные пироги, видимо, только что вынутые из печи. — Разве у вас печь есть где в этом лесу?

— Нет, какая печь: это бабы наши пекут их под горячими камнями.

Пироги оказались превкусными, из свежих щук и налимов.

За пирогами следовала уха.

Я никогда в жизни не ел такой вкусной ухи, приготовленной в чугунных котлах, как готовят ее эти люди. Оказалось, в котел были свалены целых две громадных семги, вместе с головами и хвостами. На поверхности котла так и плавал янтарь их нежного жира, и тут же были печенки и молоки, что делало уху еще вкуснее. Кроме того, пара рыб была сварена и выложена в деревянные корытца.

Я удивился такой щедрости рыбаков и, обращаясь к ним, сказал:

— Однако, братцы, вы не жалеете на котел рыбы-то. Ведь это вы свалили в котел по крайней мере тридцать рублей, если продать рыбу...

Они засмеялись.

— Верно ты сказал — тридцать рублей. У вас купец не обедает так щедро, но мы не купцы, а рыболовы. Нам только и поесть здесь, на ловле, семги в эту пору года; привези ее в деревню — живо отберет купец-торгаш за долг. Что съедим, что попрячем в брюхо, то хоть наше... Век свой работаем мы на этих купцов-скупщиков и век все бедны!

После сытного обеда все завалились спать, и на берегу остались только девушки и некоторые женщины, которые занялись засолкой рыбы.

Рыба тут на берегу, у самой воды, поролась острыми ножами, потом ее немного прополаскивали и натирали солью и затем бросали в бочки и чаны, в которых был рассол, пока они не наполнялись доверху.

Все было самодельное, простое и убогое, и никто не подумал, что в этих бочках сохранялась чудная рыба, считающаяся чуть ли не лучшей на свете.

Потроша рыбу, женщины отделяли крупнозернистую, красно-оранжевую икру, величиной с горошины. Ее они клали отдельно в особые помещения и солили; но они совершенно были неопытны в приготовлении ее, и она кисла у них, будучи между тем бесподобной по вкусу.

Из лагеря подошел один старичок, который за старостью своею давно уже не участвовал в ловле. Мы разговорились с ним об этой икре.

— Вот благодаря этой икре, мы и ловим так успешно эту рыбу,— заметил старик.

— Как так, дедушка? — спрашиваю я.

— А не будь, барин, ее у них, она не стояла бы здесь у перекатов. Метать она сюда приходит с моря эту икру, ни за чем другим и прочим.

— А ты видал, дедушка, как она мечет эту икру?

— Сколько раз случалось! Сядь поди, на камешок, на переборе этом, притулись, и ты увидишь.

Но я не захотел проделать опыт, а решил лучше расспросить старика, веря ему на слово.

— Мечет она очень просто: подходит к самому перекату, становится где небыстрое место на мелкий песок, на гальки, и начинает там тереть брюхом. Трет, а икринки откатываются и собираются назад, а из них позади образуется валик, трет и выпускает понемножку из себя икру. Сколько, бывало, смотришь на рыбу-то в воде, а тронуть боишься. В другой бы раз острогой ее, большущую, да куда теперь — только пошевелись — шмыгнет так, что и не увидишь. Бойкая рыба, семга, всех рыб бойчее.

— И далеко заходит она по реке? — спрашиваю я.

— До самой, почитай, вершины. В Урале, говорят, ее пропасти! Только туда попасть нашему брату трудно. Быстра уж больно река, никак несподручно там нам рыболовить.

Мы ловим ее при самом устье реки и после, когда она спускается, осенью ловим ее за борами в Печоре. Довольно с нас и здесь этой рыбы, — закончил старик.

Действительно, с них было довольно и этой рыбы, которая ловилась буквально перед каждым перекатом реки почти до самого устья реки Щугора, до самой обширной, быстрой Печоры.

Плывя немного спустя после этой маленькой, неожиданной остановки у рыбаков, я встретил еще не один перекаат этой реки, у которого стояла семга. А вечерами, особенно ночами, под самый Петров день, она так металась с нельмою, что становилось даже жутко плыть ночью.

Только что бывало въедешь в отвесные берега реки, только что войдешь в этот естественный мрачный коридор, где страшная глубь и омут, и затихнешь невольно под их впечатлением, — как внезапно раздается по гладкой темной поверхности удар рыбы, страшный, сильный удар хвостом, от которого так и пойдет мороз по телу.

Но скоро мое плавание по Щугору было кончено: меня вынесло на плоту на реку Печору, и больше я уже не возвращался в это царство семги, которую доставляют отсюда массою даже в Петербург, где она считается самою вкусною и ценною из всех семг, которые ловятся в России.

Говорят, причиной этому — чистая вода горных речек. Река Щугор с Печорою и ее притоками, действительно, отличаются необыкновенно чистою водою. И очень может быть, что это главная причина того, что семга любит с моря заходить в эту реку и предпочитает ее всем другим рекам Ледовитого океана.



Э то было в самой вершине реки Конды, в самом глухом, далеком углу вогульского края, когда я в 1892 году забрался туда с весны, чтобы видеть весь расцвет его природы среди лета.

Мне говорили местные жители, что это самое удобное место, и хотя там почти нет людей, хотя там почти уже край света, но там есть чудное озеро, на берегу которого осталось еще несколько маленьких юрточек, в которых можно будет укрыться на лето.

За сто верст до озера Орон-тур идут такие леса, такая глушь, что кругом ни души человеческой...

Едешь целый день по этому лесу, плетешься иногда без малого сутки, пока доберешься до человеческого жилья, и то заметишь его среди леса или по мелькающему меж деревьев огоньку, или уж тогда, когда неожиданно станут лошади, и ямщик скажет: „приехали, вылезай“.

Вылезешь из дорожных санок, пойдешь по сугробам к хижине и, действительно, увидишь во всей ее прелести, полузанесенную снегом. Залезешь в юрточку и найдешь там огонек и людей, которые с удивлением смотрят на тебя, недоумевая, откуда это взялся незнакомый, чужой человек.

И обрадуются люди, что нашелся еще на свете человек, которому любя их милая природа, и так обрадуются, так весело и дружелюбно смотрят, готовые угостить вас, если бы только хотя что-нибудь у них было. Но угостить, как на грех, нечем: рыба не ловится в реке, убить птицу — нет пороха.

Вот так-то по снежным сугробам, без дороги, мы и доехали, наконец, до озера Орон-тур, — цели нашей дальней поездки.

И хотя был март месяц, хотя солнышко радостно смотрело на землю, и по небу гуляли веселые, перистые облачка, но маленькие юрты Орон-тур-пауля мы нашли под снегом, и ни сосновый бор, который стоял кругом этого озера, ни самое озеро, спавшее под белой пеленой снега, ни самое жилье человека, ровно еще ничего не говорили о приближении весны, которая словно запоздала где-то и, быть может, недалеко за этим темным, мрачным лесом.

В этих-то юрточках в Орон-тур-пауле, который всего-навсего состоял из двух изб и одной старой хижины среди леса, я и встретил старика вогула Савву с его внуками, которые потом сделались моими закадычными друзьями.

Я увидел его тотчас же, как только мы приехали к этим юрточкам, и нас пригласили вогулы зайти в первую избу.

Как сейчас, помню эту избу вогулов: темная, большая, с грязным полом и громадной, битой из глины, печкою,

впереди стол и над ним закопченный образ, те же лавки, как у нашего крестьянина, те же голые стены из бревен, та же печь, с помещением и полатами, только лица ее обитателей не русские, все черные, скуластые,— черные, грубые волосы, черные бойкие, любопытные глаза и маленький приплюснутый нос. Одежда — армяк, ситцевая рубашка, платье, кофточка, платочек, — все было чисто русское, но надетое на грязное, никогда, кажется, не мытое тело. И я сразу почувствовал себя дома среди этих людей, которые подкупили меня своим радушием и гостеприимством.

Осматривая обстановку, я заметил на нарах у самых дверей странного старика, который сидел подняв голову немного кверху, и не то вслушивался в наши разговоры с хозяевами, не то всматривался в темный потолок, раскрыв свои прищуренные, узкие глазки, видимо, с жадностью ловя каждый звук нашего голоса.

В первый момент я не заметил, что он слепой, и только потом, когда взгляделся в его лицо, это мне стало ясным, и я спросил хозяина:

— Твой отец?

Смотрю, слепой, заслышав, что о нем говорят, как-то встрепенулся.

— Нет, чужой,— сказал хозяин, — из других юрт будет, только мне его отдало общество: „корми,— говорит,— ослепнешь, тебя кто-нибудь также прокормит“, — и я взял его, с тех пор и кормлю.

— Что же, он одинокий?

— Нет, старуха есть, тоже слепая, живет за нашим озером в другой юрте.

И мне вдруг жаль стало этого старика, и я подсел к нему и заговорил с ним.

— Здорово, дедушка,—крикнул я нарочно погромче, думая, что он глухой.

— Пайся, пайся (здравствуй),—закивал обрадованный старик, заслышав вблизи себя незнакомого человека.

— Что это ты, не видишь?

— Не вижу, не вижу,—забормотал старик, и вдруг, словно смутившись немного, повесил голову.

— Давно, дедушка?

— Давно, уж плохо помню...

— Отчего же это с тобой случилось?

— От дыму, господин, от дыму... Весь век мы со старухой жили в дыму да в грязи, весь век у нас глаза болели, вот дымом, должно быть, их и выело...

Я посмотрел на других вогулов и, действительно, заметил, что и у тех блестят неестественно глаза от вечного дыма и копоти, и спросил:

— Откуда же у вас столько дыма?

— Все от наших чувалов (каминчиков), они дымят больно, затопишь их, разгорятся дрова, набежит с бору ветер, заглянет в нашу трубу — велика ли,—дым и пахнёт прямо в избу, так и сидим с ним весь век, глаза портим. Куда денешься от дыму... Холодно в нашей стороне зимой и летом, рад будешь и дыму, чтобы не замерзнуть...

Мне захотелось обласкать старика, и я спросил его, нюхает он, или курит, зная хорошо, что табак,—любимое удовольствие вогула.

Старик, оказалось, нюхал и был так рад, что я ему подарил пачку нюхательного табаку, и даже вытащил откуда-то берестяную табакерку...

Эта пачка табаку, кажется, окончательно подкупила добродушного старика, который повеселел, словно встретил кого родного.

Мне предстояло прожить в этом поселке месяца три: надо было устроиться сколько-нибудь сносно. Мне предложили поместиться в летней холодной избе во дворе, и я с радостью согласился на это.

Через час я уже расположился в новом помещении, где были просторная комната и маленькие сени, в которых устроена была битая теплая печь. И когда вытопили эту избу, когда поставили кровать, и я повесил на окна свои розовые ситцевые занавески, прикрыл ее уродливые голые стены картами и фотографиями, то получилась такая квартирка, что я даже не мечтал о чем-нибудь подобном в таком диком, глухом крае.

Я даже выкинул флаг над своей квартирой, что окончательно привело вогулов в удивление и восторг. Многие прибегали ко мне посмотреть и решительно не узнавали своего летнего неуютного помещения.

Не пришел ко мне в тот день только дедушка, но зато он явился на утро и не один, а со своими внучатами, которые и привели его к моей квартире. Накануне этих внучат я не заметил. Они, вероятно, прятались от меня под лавку.

Это были лет пяти мальчик и лет двух девочка, оба черные, как негры, от грязи, оба жалкие, как дикие лесные зверьки, и оба в таких рубищах, что страшно было смотреть, кажется, и привычному ко всему человеку. Бедность, ужасная бедность как-то особенно ярко взглянула на меня. И я чуть не заплакал при виде этих бедных детей, у которых не было даже рубашки, чтобы прикрыть свое тело, на них были только лоскуты. И как они пришли снежным двором, как привели в это морозное утро своего дедушку, я решительно недоумевал.

Я пригласил их в комнату. Они робко вошли, прижимаясь к стенке. Я попросил их сесть. И слепой дед, словно прислушиваясь к обстановке моей квартиры, ощупью опустился прямо на пол, усадив тут же и своих несчастных внучат, которые, как зверьки, оглядывали каждый угол.

— Откуда это у тебя, дедушка, дети?

— Внуки мои. Тоже, как я, сироты... пожалуй, есть отец, да беспутный, не кормит... Живут у меня больше под лавкою, вместе возим с озера хозяевам воду.

— Как же возите вы, ведь они почти без рубашек?

— Что сделаешь? Где возьмешь, когда нету?

И старик, словно желая убедиться, что на его внуках, обнял их тихонько рукою и стал общупывать полуголенькие тощие плечики.

— Где же их отец, и почему он их бросил?

— Тут же живет за нами. Только больной он...

— Что с ним такое?

— Болезнь какая-то, не знаю. Кости болят, в лес пойдет, зверь от него бежит, птица прочь летит; сетку на рыбу поставит, рыба ее боится, так и живет впроголодь и уже от ребят отступился. Вот я их и прибрал к себе, все же не бьет их всякий.

— Разве бьют их?

— Как не бьют, когда под руку подвернутся? Всякий бьет, и маленький, и большой: кто любит таких-то?

В этот раз мы так и не разговорились ни о чем другом со слепым стариком. Я, угостив детей кренделями, которые они с жадностью начали тут же грызть, словно боясь, чтобы их у них не отняли другие, угостив старика рюмочкой водки, скоро отпустил их, наделив своими розовыми ситцевыми занавесками, чтобы хотя к празднику прикрыть их бедное тело.

Старик ушел от меня, неся эти занавески, сопровождаемый детьми, которые вели его за палку, что-то по-своему говорили ему, когда он натыкался на дверь или не решался двинуться вперед и останавливался.

Когда я заглянул через час, проходя по двору, нечаянно в избу моих хозяев, то увидал неожиданно следующую сцену. Посреди избы стояла совсем голая девочка-сиротка. У ног ее тут же на полу сидел слепой старик и две взрослых уже девушки, дочери хозяйки, озабоченно кроили мои занавески, разостлав их на грязном полу.

Вскоре платье было наполовину сшито оленьими жилами, и они примеряли его на тощее тело детей.

На другой день, так же рано утром, дедушка Савва явился ко мне в сопровождении своих внучат, которых я едва узнал.

Дети были уморительно смешны в моих розовых с цветами занавесках; девочке, пожалуй, это еще подходило; но мальчик решительно походил более на акробата, чем на обыкновенного мальчика в рубашке.

Дед был страшно доволен и все прижимал детей, сидя на полу, и с наслаждением поглаживал их по спинам старческой рукою.

С тех пор эти друзья мои стали самыми обычными моими посетителями, с которыми я с удовольствием делил почти все свое время.

* * *

Савва был редкий старик; он знал страну, как свои пять пальцев, его жизнь была истинною летописью, его рассказы захватывали своей простотой и задушевностью. И я каждый день, сидя перед ним у своего треногого столика, тихонько записывал страницу за страницей своего дневника,

пополнял его такими неожиданными сведениями, которые меня поражали.

Он рассказывал мне, как он рос, воспитывался в этом лесу, учился; он рассказывал, как хорошо, светло было его детство и отрочество.

И среди этой природы он невольно как-то научился петь, и эти песни он помнит еще до сих пор, хотя уже давно ему стали изменять голос и память.

И слепой старик, сидя на полу со своими внучатами, часто пел их мне, переводя скороговоркой, пел под аккомпанемент своего „лебеда“, как называют вогулы свои гусли.

С этими гусями, сделанными еще в молодости, старик не расставался.

Однажды я пригласил к себе дедушку Савву показать мне обещанное представление, своего рода пьесу, пантомиму вогулов.

На это представление собралась в моей комнате почти вся публика Орон-тур-пауля.

Я очень был рад такому необыкновенному сборищу вогулов, моих соседей, отчасти потому, что это был случай посмотреть их всех разом, отчасти потому, что мне было скучно.

У меня собрались вогулы, настоящие лесные дикие жители Сибири, в оленьих костюмах с косами и растрепанными волосами, с темными, обветрившимися лицами и любопытными, маленькими черными глазами, с выдающимися скулами, в тех самых одеждах, в которых они охотятся. И только одни женщины немного как-будто принарядились, надев на себя ситцевые платья и опоясавшись любимыми красными кушаками. И вся эта публика, с сопровождавшими их ребятишками скромно уселась или встала кругом моих стен, в ожидании того, что будет.

Сначала я предложил им угощение: высыпал на стол кучу кренделей и белого хлеба, потом мужчинам было подано по рюмочке, и мало-помалу между ними завязался непринужденный разговор, и интерес скоро сошел на охоту. Особенным рассказчиком оказался среди них молодой, стройный, смуглый вогул, родственник старика Саввы, который, казалось, только и думал об охоте. Он стал рассказывать что-то про охоту на бобров, на оленей, как вдруг слушавший его старик словно впал в какое-то вдохновение и тронул свои медные струны.

Сначала это не произвело, повидимому, никакого впечатления, — старик словно только еще пробовал свой инструмент, беря знакомые аккорды, но вот из-под его руки что-то стало выходить уже стройное, определенное, как мотив, вот еще и еще слышались захватывающие любопытство звуки, он всхлипнул, взялся побойчее за струны, наклонил ниже голову, и все невольно заслушались и засмотрелись на него.

Скоро затихли и последние голоса разговаривавших, старик завладел всеми, и в комнате полились аккорды за аккордами, звуки, мелодия и песня. И старик запел какую-то старинную былинку, прерывая ее словами рассказа, поясняя этим то, что он не может высказать ни музыкой, ни своей отрывистой песней.

Я спросил, что он поет, и мне шопотом передали на ухо, что он поет старинную былинку, как прежде жили вогулы.

Я не понимал ни одного слова, но мне ясно было, что он пел о прошлом, и, глядя на лица дикарей, я сразу понял, в чем дело, потому что все сразу как-то задумались и поникли головами, только порою взглядывая, словно умоляя старика не надирать их души.

Но эта песня была коротка: старик оборвал ее, и вогулы как-то глубоко, тяжело вздохнули, провожая мысленно далекое прошлое.

После песни старика заиграл его родственник, молодой вогул.

Он играл уже что-то веселое, и лица вогул сразу прояснились и засмеялись, и на сцену сразу выскочило несколько молодых людей и девушек, которые пустились в пляску.

Они танцевали свой излюбленный танец лесов, изображая зверя, рыбу и птицу, взмахивали руками, как бы хотели улететь, вскрикивали, как испуганная птица, вертелись, приседали. Надо было видеть их, знать хорошо их природу, чтобы понять, кого они представляют в этих танцах.

Порою, когда кто-нибудь особенно вскрикивал, делал особенно удачное движение,— пробежал ропот удовольствия, ему восторженно хлопали в ладоши и хвалили, и довольный танцор прятался в толпу, уступая место другому.

В какие-нибудь полчаса все молодые люди показали свои таланты. Музыка затихла. Раздались шумные требования дать представление, которое обещал старик Савва.

Савва, довольный, улыбался, но не начинал, возясь с струнами своего „лебеда“. Этот „лебедь“ сегодня был украшен красными ленточками, которые ему навязали девушки-вогулки.

Но вот старик Савва отдает распоряжение, что можно начать представление.

Это вызвало общий восторг и говор. Дети, молодые люди пришли в оживление,— кто бросился вон из избы, получив роль оленя; кто бросился за поисками костюмов. Роли были розданы общими голосами, и в сенях пошла такая толкотня меж одевающимися, словно предстоял настоящий маскарад.

Роль охотника досталась на долю молодого вогула — музыканта. Ему живо достали лук и колчан, он облачился в одежду настоящего охотника, и через полчаса самых шумных сборов все было готово, и комнату полуочистили для предстоящей сцены.

Кто мог из зрителей, поместился на печь, около стен и окна, кто не мог занять выгодного помещения, сел на полу, подобрав возможно ближе ноги, дети уселись на плечи больших и свесили оттуда свои голые ноги, и публика замерла в ожидании одетых актеров.

Старик взялся за „лебеда“, заиграл прелюдию, в комнату вошел молодой охотник. На нем лук с тетивой, колчан с острыми настоящими стрелами, на нем лыжи, легкие охотничьи чулки и нож. И красивое, смуглое, оживленное лицо, развевающиеся волосы, каждое движение — все говорило об отваге. На его костюме — даже следы запекшейся старой крови; за его поясом даже свежееободранная шкура лисы...

Его встретили возгласами удовольствия, но он ничего и никого уже не замечал: он в лесу, один на охоте, его лицо носит следы какой-то заботы и вместе с тем воодушевления. Он не говорит, но вы видите, что он крадется осторожно, отводя ветви; он не говорит, но вы видите, что он переживает в сердце, и вы словно идете вместе с ним в лесу, следите за всеми его движениями, которые вам говорят сами тысячью мелких вещей, как бы словно вы сами шли на его место по лесу, видя перед собой дикуую чашу поемного северного леса.

Эта картина была чудесна, она сразу захватила наше внимание, и старик-музыкант придал ей музыкой еще большее впечатление.

Актер с луком в руках обходит несколько раз сцену, не обращая на нас ровно никакого внимания, как будто он

на самом деле в лесу; ему тесно, ему некуда просунуть лыжи; но это ему не мешает, он скользит на них почти на одном месте и покачивается, заглядывает между стволов и снова пускается заботливо в бегство. Но вот он словно запнулся за что,—наклоняется и поднимает что-то с земли.

По комнате пробегает шопот. Вогулы поясняют, что он нашел след и теперь определяет его свежесть. Охотник оживает. Он нашел то, что искал, что ему нужно, и он обводит нас таким взглядом, который без слов говорит о счастье охотника.

Музыка продолжается. Охотник бежит по следу. Он следит по самым ничтожнейшим признакам: по обломленной на сучке ветке, по сбитой коре, по сломленной былинке и, решив, что зверь уж недалеко, живо скидывает свой дорожный костюм, поправляет одежду и берет крепче лук в руки. Теперь его движения страстны, смелы и быстры, он уж не видит леса, не чувствует его тишины, теперь он — весь движение, и мы только видим, как он мелькает, бежит и прячется за стволами, прыгает и припадает, высматривая, далеко ли добыча, готовый пустить в нее острую стрелу. Вдруг он останавливается и замирает на месте, прячется за ближний ствол и падает почти на снег.

Публика замерла.

Кто-то говорит, вскрикивает, что охотник нашел зверя.

Действительно, это правда: в комнату вбегают пара оленей в вывороченных оленьих шубах.

Это пара новых молодых актеров. Они уморительны на четвереньках с привязанными оленьими рогами, они смешны в роли зверя. Но они делают вид, что пасутся, не замечая еще вблизи охотника, который припал за ствол ближайшего дерева и лежит, словно не дышит. Один из них — мать-самка, другой — молодой олень, у которого на голове маленькие,

черные, еще в пуху, рожки... Мать выбивает из-под снега мох, сын ее протягивает к нему голову, она его трогательно кормит, и когда он жует, она чутко прислушивается и поводит носом, словно чувствуя вблизи опасность.

Музыка чуть-чуть наигрывает какой-то грустный мотив, словно ропот пробегающего ветра по вершинам. Зрители замерли и ждут, жалея бедных оленей.

Олени беспечны, не видят опасности и спокойно бродят около самого охотника, который все еще лежит за стволом дерева, готовый пустить, однако, не пускает почему-то стрелу.

Зрители говорят, что его положение невыгодно, друг друга уверяют, что на него веет ветер, который может его выдать.

Чувствуется драматический важный момент.

Охотник медлит. Беспечный детеныш разыгрывается, сопровождая свои движения смешными прыжками около матери, и при взгляде на них и смешно, и жалко.

Но вот что-то треснуло, стукнуло в стороне леса; олени сразу делаются внимательными и, словно слыша опасность, отходят в сторону и уходят совсем со сцены.

Охотник поднимается и озабоченно оттирает пот с лица. В его движениях какая-то неуверенность, он оглядывается, словно кто ему мешает.

Музыка наигрывает грустные мелодии.

Волулы говорят, что охотника преследуют завистливые боги. Он, действительно, к чему-то прислушивается и, словно решившись, снова начинает скользить и подкрадываться осторожно, разнимая каждую ветку.

На сцену снова выбегает олень, скоро за ним выбегает пара маленьких, в которых я узнаю внучат деда. На их рубашки натянуты шкурки маленьких ободранных лосей,

которые могут сойти сегодня за шкурки оленей. Они смешны, но серьезны, и мальчик преуморительно подскакивает на месте, еще, видимо, не зная, как себя ведет на самом деле дикое животное. На это мало обращается внимания. Их заметил уже охотник. Он снова прячется за деревья и подкрадывается. Теперь он наметил себе жертву — маленького мальчика, который ближе, и который совсем глуп. Охотник тихонько, не сводя глаз, вытягивает уже из колчана стрелу, он осматривает ее острие, оно остро, как нож.

Публика ахает и замирает. Даже слепой музыкант и тот останавливается, прислушиваясь, что будет.

Охотник крадется, крадется и уже поднимает лук. Глупый детеныш словно уж предчувствует что-то грустное и тоже замирает.

Что-то тревожное пробегает по лицам зрителей, слышится вздох, жалость к маленькому оленю.

Еще момент, и тетива натянута, стрела на месте, готова разрезать воздух, вонзиться... Еще момент, и охотник прицеливается прямо в спину.

Вдруг в комнате со стороны раздается треск, щебет маленькой птички, настолько неожиданный, настолько знакомый, что словно в комнату только что впорхнула северная жительница этих лесов, так что невольно почувствовалась дрожь, как дрожит человек в лесу, заслышав щебет, тревогу этой птички, которая словно вас преследует, защищая вашу жертву.

Я взглянул на зрителей, отыскивая, кто так удачно изображает эту знакомую птичку, и сразу догадался, что это проделывает все тот же наш музыкант-старик Савва, приложив руку к губам, так ловко чирикает, поднимая настоящую лесную тревогу. И по лицу его, потному, добродушному, скользит удовольствие.

Стрелок вздрагивает от неожиданности и опускает лук. Олени тревожно подняли головы и на секунду застыли, прислушиваясь к голосу все продолжавшей трещать птички. Убедившись, что им грозит опасность, вдруг закинули головы, как настоящие олени, заскакали по полу и скрылись в соседнюю комнату, показав нам на секунду только свои голые пятки.

Зрители зашумели, заговорили, словно обрадовавшись такому обороту дела, и все с любопытством, с насмешкой смотрели теперь на стрелка, который вдруг поник головой и задумался, за что его преследуют боги, которые покровительствуют зверям, когда их хочет обидеть зверь или человек.

Птичка замолкла, и слепой старик Савва снова заиграл на своем инструменте какую-то вогульскую грустную мелодию, прерывая ее шумными аккордами лесной бури. И под влиянием его музыки как будто, действительно, стало темно в лесу, и охотник невольно стал боязливо оглядываться по сторонам.

Вдруг он о чем-то вспомнил, изменился в лице, быстро вырвал из груди клочок шерсти и ниточкой красного гаруса перевязал его и повесил на ближайшую стену.

— Жертву, жертву приносит,— шептали вогулы, и музыка снова стала как-то замирать, и старик снова заиграл веселые мотивы. Буря пронеслась; боги умилились; ветер изменился. В охотнике снова пробудилась прежняя уверенность в удаче, и он, попробовав, откуда дует ветер, подбросив на воздух горсть снега, снова устремляется на преследование бедных зверей, уверенный уже, что ему на этот раз не помешают боги.

В публике снова — ожидание и тревога, в музыке снова — тихие мелодии.

Вон звери на лужайке. Теперь их три,—две больших и один маленький, даже без рожек; они мирно пасутся тут, не замечая охотника, который сразу, завидев их, упал на пол и ползет. Он уверенно разгибает ветки по своему пути и уверенно подглядывает.

В комнате наступает мертвая тишина,—замолкли даже медные струны деда.

Но вдруг что-то хрустнуло опять на полу, хрустнуло так, как только могут хрустеть в лесу старые ветки. Олени насторожились, у охотника страдальческое лицо, но момент уже пропущен, олени снова слышали охотника и бегут прочь, уходя от стрелы. Но вот у охотника мелькнула какая-то радостная мысль, и он побежал, гонится по следу.

Вогулы говорят, что он догонит, непременно догонит детеныша, потому что снег слаб, и ему не убежать далеко.

И, действительно, олени как будто стали уставать, матери не хочется оставить детеныша, и она подталкивает его грудью, мучительно зовет его, когда он останавливается, шатается уж от усталости. Наконец, олени встали, и мать с тоскою смотрит в сторону охотника, в то время как детеныш прижался к ее боку и лежит, повесив голову.

Проходит несколько томительных минут, в которые охотник крадется к оленям, когда он вынимает стрелу. Она остра,—мы видим потому, как он ею доволен, на ее конце блестит острое, как нож, железо. Тяжелый момент, когда он мучительно долго прицеливается в дрожащих оленей, потом публика вдруг ахает, и молодой олень падает на землю, и стрела уже в его боку, из раны уже льется алая кровь на пол... Мать вздрагивает и отбегает, но ей жаль детеныша; она зовет его и дрожит, не смея тронуться с места... Она облизывает его рану... Но вот еще

прицел, еще стрела, и мать падает с ним рядом, и ее ветвистые рога беспомощно бьются о землю.

Спасается только один олень, который, как вихрь, уносится в соседнюю комнатку, запнувшись и падая к удовольствию зрителей, тут за порогом.

Публика смеется, но у нее на глазах слезы: ей жаль от души эту мать и ее беленького маленького детеныша.

Но охотник в восторге, он машет руками, он рад и бросается к зверям и уж вынимает нож из ножен, ощупывает их, готовится снимать с них шкуры, чтобы скорее полакомиться свежей кровью и мясом, как представление сразу замирает, заканчивается без занавеса, без аплодисментов, и обрывается на страшном моменте.

Актеры поднимаются в вывороченных шубах с пола, снимают рога, и перед нами снова наша комната с вогулами, которые шумно рассуждают об успехах сцены, тогда как старик продолжает шумно, весело что-то наигрывать, словно так же, как у нас в театре, провожая публику прощальным маршем.

Так закончилось это представление охоты на оленей, с участием деда Саввы, как музыканта, и его внучат.

Внучата были страшно довольны и, помню, целый день оставались в моей комнате, вспоминая игру в оленя, и так увлеклись ей, так чувствовали себя хорошо, что даже разругались, блестя веселыми глазами.

Но это единственное светлое время их в жизни: больше уже не удавалось делать представлений. Началась весна, и с нею прилетели птицы,—всех потянуло в леса и на простор вод,—всех потянуло невольно из комнаты на свободу. Я уже почти не бывал в юртах, охотясь по лесам и плавая в маленькой лодочке по разливам речек. Я только охотился, писал, фотографировал, чертил.

Летом юрты почти опустели: мужчины были почти поголовно в лесу и на озере, где ловили рыбу; дети тоже возились с силочками и приманками, сзывая по берегам селезней, и в юртах только оставался один седой дедушка Савва. Единственной его спутницей теперь была его слепая старушка, которая порой выводила его на берег родного озера, где они долго задумчиво молча сидели, вероятно прислушиваясь к тем волнам, которые когда-то говорили и им о другой, более живой, деятельной жизни.

Но когда изредка я возвращался в юрты с экскурсий, старик почти безвыходно бывал у меня со своими внуками и старухой, и я, помню, много еще раз заставлял его петь мне былины и рассказывать про старое доброе время, как они жили. И старик снова оживал, вспоминая до мелочей прошлое своей жизни, передавая мне тысячи разных вещей, которых никогда, кажется, уже не узнать, не увидеть никакому путешественнику в жизни.

Он пел мне про своих богов, которые стоят в лесу в виде идолов, ожидая кровавых жертв; он пел про зверей и про страшных бурых медведей; он пел про белочку и шустрого бобра; он пел про птиц, про разных насекомых, и всюду, о чем пел он, поражал меня такою наблюдательностью, такою любовью к природе, какой мог бы позавидовать всякий натуралист. И я удивлялся этому, я больше и больше узнавал, что может дать природа человеку.

И этот темный лес, это светлое, с виду пустынное озеро, эти дебри, развалы гор обрисовывались передо мной в такой чарующей незнакомой мне еще обстановке, что я с удивлением смотрел на старого, слепого деда.



Несколько лет тому назад мне привелось провести масленицу в Обдорске.

Миниатюрный северный городок остяков, самый северный во всей обширной, пустынной Сибири, казалось, замерзал от сорокаградусных морозов. Северное сияние почти не сходило с темного, звездного, ясного небосклона, бороздя его световыми дугами и столбами, и бедные жители севера, казалось, напрасно старались развеселиться, катаясь на оленях по занесенным снегом улицам.

Я был случайным свидетелем этого, тосковал, не зная, чем наполнить эту веселую неделю, как вдруг нам пришла мысль прокатиться в ближайшие юрты остяков, проветриться, промерзнуть хорошенько, чтобы хотя морозом и быстрой ездой на оленях скинуть с себя скуку.

Дело решено. Я приглашаю маленькую компанию, посылаю за ямщиками, и через час в моей квартире — четыре

остяка в мохнатых оленьих ягах, с длинными косами, во всей прелести своего зимнего северного костюма.

Я заказываю две тройки оленей. Ямщики дают слово сегодня же сходить в лес на лыжах и словить там бродячих оленей и, как только завтра покажется солнышко, быть уже с ними здесь в моей ограде, чтобы тотчас же ехать в Собские юрты, за тридцать верст, где можно будет получить единственное лакомство — вареных икряных ершей, которыми так славится речка Собь.

Мы в восторге от этой прогулки, и хотя она, повидимому, ничего нам особенного не сулит, кроме ершей и ознобленного носа, довольные ложимся спать, чтобы завтра рано утром тронуться на оленях.

Ямщики-остяки на этот раз оказались исправными: не успел я проснуться утром в теплой постели, как на дворе моей квартиры поднялся шум от лая собак, слышно было, как отворялись ворота, слышно было, как скрипели легкие санки и копыта оленей у моего окна, и, подбежав к нему, я увидел знакомую уже картину.

На широком дворе стояло с десятков серых оленей с ветвистыми рогами; некоторые были запряжены в легкие сани, другие были привязаны позади их, и все они, словно удивленные чуждой обстановкой, куда они попали прямо из леса, как-то боязливо оглядывались кругом, готовясь при первом испуге броситься вон из ограды и убежать обратно в свой лес.

Около них бродили трое остяков-ямщиков; все они были одеты в мохнатые смешные костюмы из оленьей кожи, пушистая шерсть их так и торчала, переливалась от ветра.

В добавление ко всему этому, в их руках были предлинные тонкие шесты, какими они управляют оленями.

Я невольно засмотрелся на эту картину в полузамерзшее, заледенелое окно и только спустя минут пять вспомнил, что нужно собрать нашу маленькую компанию для этого оригинального северного пикника.

Живо был послан посыльный к соседям; живей того появился на столе утренний самовар, скоро собралось общество, и через какой-нибудь час мы все, оживленные предстоящей поездкой, в дорожных костюмах, закутанные, выставив только наружу один нос да глаза, вышли во двор и стали усаживаться на две нарты, у которых уже дрожали от страха рогатые животные.

Еще несколько вопросов: как и кому с кем сесть, еще несколько затруднений с одеялами и кошмами, которыми нужно как следует закрыться, особенно дамам, и ямщики выправили оленей, взяли свои страшные орудия-шестики, и мы со звоном бубенцов, навязанных под горлами животных как стрела, понеслись вдоль улицы городка, нырнули под гору на реку и понеслись, поднимая снежную пыль, по лугам и снежной равнине.

Бешеная езда!.. Езда, которая только и может быть на таком далеком севере, где так широко раскинулась северная степь, где всюду кругом только и видна одна снежная равнина, где так громадны расстояния, разделяющие человеческое жилье от другого, что сократить его могут не ноги лошади, а легкие, тонкие ножки оленя, которому нет преград ни в громадных сугробах, ни в таком пути, где нет следа санок.

Мы несемся, как вихрь, по снежной пустыне; ямщики ухают, стонут, кричат; санки ныряют по сугробам снега, то мы скатываемся, проваливаемся на лед обширной Оби, то взлетаем, поднимаемся на ее обрывистый высокий берег, то тонем, в пушистом снегу, в зарослях низкого тощего леса,

то снова вырываемся на простор снежной равнины, которую не может обнять глаз, уже забросанный снежной пылью.

Олени, передние санки, мохнатый костюм нашего ямщика, в котором он более похож на медведя, чем на человека, его длинный шест, покачивающийся над гладкими спинами оленей, морозная пыль кругом, низкое, вроде красного громадного шара, солнце над горизонтом, безоблачное серое небо, белые снежные горы вдали, черная линия далеких лесов,— все это, кажется, тоже несется вместе с нами, быстро несется, неизвестно куда и зачем.

Скоро все это скрывается совсем: глаза наши слепило морозом, снежной пылью, дыханием,— они закрыты; кошма надвинута на голову. Перед глазами белая с просветами кошма, только слышно, как хрустит снег под копытами оленей, под полозьями санок, и вскрикивает ямщик каким-то нечеловеческим уже голосом на обезумевших от страха животных.

Но вот остановка. Я выглядываю из-за кошмы, протираю глаза и вижу: мы на льду обширной, пустынной Оби, берега едва видны, как тонкие линии заросли ивняка, река, как белая скатерть, и на этой скатерти только одни мы с занесенными снегом санками, десятком оленей. Мохнатые ямщики с длинными шестами стоят впереди на дороге, поставив шесты и загородив этим путь оленям. Эти, уже усталые, с раскрытыми ртами, едва переводя дыхание, стоят на дороге, широко расставив свои ноги с острыми черными копытами, и дышат, раскрыв пасть и высунув язык, как гончие собаки, поднимая кругом себя и над собой целое облако пара.

Я кричу ямщику, он подходит ко мне с трубкой, и я спрашиваю:

— Сколько отъехали от Обдорска?

— Половину.

Я смотрю на часы и вижу, что мы ехали всего три четверти часа пятнадцать верст.

— Еще будет остановка? — спрашиваю я ямщика, который смотрит на меня, покуривая свою носогрейку.

— Будет.

— Где?

— В Собских юртах.

Я вижу, что он не понял меня, и смеюсь вместе с моим спутником, и хочу объяснить ему, что он меня не понял, но в это время что-то крикнул другой ямщик, мой бросился к оленям, и, прежде чем я мог сообразить, что такое случилось, санки уже снова двинулись вперед, и мы снова несемся дальше, поднимая снежную пыль.

— Это, — говорит мой спутник, — они дали „перевести дух оленям“, как они говорят, три минуты через пятнадцать верст.

И мы снова затягиваемся кошмой, чтобы не ознобить нос и щеки.

Опять скрип санок, копыт, ухабы, развалы, встряхивания, опять уханье, крик и стон ямщиков, и легкая дремота невольно овладевает телом под эти звуки. Но вот снова остановка. Сна как не бывало. Я раскрываю кошму, думая, что мы уже в юртах, но впереди только обрывистый лесистый берег и одна широкая дорога на просеке.

— Что такое? — спрашивает меня мой спутник.

— Кто-то попал навстречу, — отвечаю я, замечая, что впереди целый караван санок и до десятка закутанных в яги фигур.

— Ну, это обычная история: остяк уж ни за что не проедет мимо остяка в дороге, чтобы не выпросить все новости, кто, куда и откуда, — говорит мой спутник.

Я смотрю вперед и, действительно, вижу группу фигур, которые, словно забывши нас, спокойно закуривают трубки и шумно разговаривают на дороге.

Но, к нашему благополучию, караван скоро трогается; мимо наших санок проходит, озираясь, одна тройка оленей, другая, третья, четвертая, их сопровождают закутанные фигуры в оленьих шкурах, с шестами; на каждом санках воз товаров, и олени с трудом их поднимают в гору по гладкой дороге, скользя по ней широкими копытами.

— Что они везут? — спрашиваю я у своего ямщика, когда караван проходит весь мимо и скрывается, скрипя полозьями по мерзлому снегу.

— Мороженую рыбу, — отвечает он, и мы снова несемся вперед, взлетаем на берег и въезжаем в тощий, реденький, северный лесок.

Объ перевалили; по признакам, по тому, как в лесу всюду выбродили олени, и видны лыжи остяков, видно, что недалеко юрты; в лесу не такая стужа, и мы с удовольствием теперь смотрим после снежной равнины на этот тощий кедровый лесок с уродливыми вершинами, подбитыми ветром и холодом с севера. Не весел он; деревья редки, всюду на ветвях, как траурная вуаль, висит мох, стволы коротки и уродливы, ветви протянуты к югу, как руки, березы с темными стволами, как кустарники, ивняк, как сухие палки, но все же как-то отрадно в этой зелени, лучше, что она закрыла голый горизонт, веселее, что окружила вас стеной, живой стеной. И следы зайчика, только что перед нами пробежавшего тут, по сугробу, между кустиками ивняка, как-то невольно говорят сердцу, что мы не одни в нем, что здесь уже есть жизнь, не то, что мы видели в снежной пустыне. Уставшие олени тоже оживились вместе с нами, чуя жилище человека, станцию.

Еще четверть часа пути по лесочку — и мы видим высокий берег с кедрами и лиственницей, под ними занесенные снегом юрочки остяков; до нас долетает лай собак; на наш шум выбегают люди на берег, и скоро мы торжественно поднимаемся на берег, въезжаем в маленькое селение и останавливаемся у крайней юрты, из широкой мазаной трубы которой уже валит синий дымок вместе с искрами пламени.

— Вот и Собские юрты, — говорит мой спутник, вылезая из кошевки.

Я смотрю и вижу: десяток маленьких строений по берегу, одни из них амбарчики на высоких столбах, другие жилые дома остяков — юрты. Та юрта, перед которой мы остановились и теперь стоим, самая лучшая, с большим ледяным окном, даже с сенями, откуда на нас смотрят хозяйки дома. Пушистый белый снег так и висит с низкой крыши; рядом стоит лес, и туда ведет только единственная тропа, по которой бегают зачем-то собаки.

Рядом с юртой амбарчик, у его дверей рыболовные принадлежности: сетка для льда и плетеные морды.

Наш приезд поднял на ноги все население, нас окружают собаки и люди: первые неистово лают на нас, как на медведей, вторые стараются унять их, напрасно схватывая самых ретивых за хвосты и отбрасывая в сторону на снег. Но, наконец, собаки прогнаны прочь, и нас обступает толпа остяков в меховых халатах, с распахнутыми полами, с растрепанными волосами, с нечесанными косами, с грязью на лицах, так как они сидели только что у своих очагов или валялись по нарам, которые им заменяют наши кровати.

Но более всех интересны были дети на руках матерей, вытащенные на мороз чуть не голыми, с испугом на лице, с грязными ручонками, обхватывающими за шеи матерей,

с черными любопытными глазенками, которые выражали полное недоумение.

Мы, казалось, не менее их были в недоумении, что делать, зачем мы сюда попали, и готовы были ехать обратно, как из этой толпы выдвинулся один старик в меховом, чистом, пестром халате и на русском наречии, хотя и ломаным языком, пригласил нас в свою юрту.

Его юрта была та самая, к которой нас подвезли ямщики.

Мы обрадовались этому приглашению и, чтобы поскорее скрыться от взоров и шума сбежавшейся толпы, пошли за ним в его черные сени, пролезли в квадратные маленькие дверцы и очутились в просторной избе.

На первый раз нам показалось в ней отвратительно: чем-то пахло таким, от чего дамы невольно закрывали муфтами лицо; всюду была такая грязь, что нельзя было прикоснуться; пол, стены, крыша, заменявшая собой потолок, все было прокопчено так, как в черной бане, и запах дыма, рыбьего жира и человеческого жилья так и бил в нос со свежего воздуха.

Но это продолжалось не долго: по мере того, как разгорался чувал — камин в углу, запах уносило, воздух освежался; теплые лучи ярко пылающего костра согрели этот воздух, сырость пропала, и дышать стало легче, а яркий неровный свет огня даже придал этому жилищу интересную обстановку, то освещая вдруг всю юрту, начиная с потолка, где висело в темноте множество неизвестных нам с первого взгляда вещей обихода охотника и рыболова, то бросая все в полумрак.

Кое-как нас усадили на маленькие стульчики около камина; мы быстро согрелись, и странно: не прошло и десяти минут с тех пор, как мы в этой юрте, как она уже нам нравится; нам весело в ней, нам нравится ее веселый ого-

нек, мы понимаем эту обстановку остояка, мы смеемся, какое оригинальное окно из куска льда сделал наш хозяин, с любопытством осматриваем все вещи, всех обитателей этой избушки рыболова, смеемся, что мы сидим под пологом развешенных сетей на потолке, что мы окружены людьми, которые с удивлением смотрят на нас.

Наше довольство видит хозяин; мы спрашиваем его:

— Как тебя зовут?

— Меня? — отвечает он смело. — Меня зовут Василий Иванович.

— А прозвище как?

— Барабан.

Василий Иванович, действительно, с своим выпуклым брюшком на коротких ножках кажется нам барабаном.

Но Василий Иванович хочет нам отрекомендовать и свою супругу, и свою дочь и продолжает:

— А вот это моя баба — Орина Ивановна, а вот это моя дочь — Дашка.

И он выводит одну за другой к огню из темного угла — и Орину Ивановну в прегрязнейшем костюме, с вымазанным сажей лицом, и дочь Дашу с косами до пола, в которые ввязано вместе с красным шнуром до полусотни медных колец и всяких звенящих украшений.

Потом Василий Иванович Барабан вытаскивает за рукава из углов маленьких своих ребятишек, те упираются, смотрят на нас настоящими зверьками, но покорно подходят к нам.

У нашего Василия Ивановича оказывается полдюжины ребятишек.

— Чем же ты кормишь их? — спрашивает одна дама.

— Сырой рыбой кормлю, чем их кормить я буду? — отвечает Василий Иванович Барабан, и в доказательство вы-

таскивает нам напоказ к огню мешок из оленьих шкур, полный мелкой рыбы, которую он только что привез сегодня на собаках с реки. Мы смотрим и видим тут маленьких нельмушек, сырков, щук, окуней, ершей и налимов.

— Вот такой мешок они съедают в день,— говорит нам наш словоохотливый хозяин.

— Что же ты их хлебом не кормишь?

— Хлебом? — удивляется он,— где я возьму им хлеба? Мы все едим одну рыбу весь год, с нас ладно и рыба...

— Только одну рыбу?

— Одну рыбу... Что больше? Когда есть кирпичный чай — пьем чай.

— Как же вы ее едите?

— Варим котел,— показал он нам на большой, черный от сажи, чугунный котел в углу юрты,— едим сырую, мерзлую стругаем и едим с солью, едим вяленую на солнышке летом, соленую, когда есть соль, а больше сырую летом, пока она еще жива.

— Как? — вскрикнула одна дама,— живую? Господи!

— И рыба трепещется?

— Трепещется.

— И тебе не противно?

Но этого слова не понимает наш хозяин.

В то время, пока мы разговариваем, его дочь повесила на огонь черный чайник; вода быстро вскипает, мы завариваем чай, вынимаются салфетки, закуски, бутылки; перед огнем чувала-камина устраивается столик с белой скатертью, и мы, к соблазну ребят, начинаем наш завтрак и чай.

Дамы торопятся угостить ребятишек, те охотно, уже не стыдясь особенно, подходят к ним за лакомствами. Мы, мужчины, угощаем Василия Ивановича с женой водкой и винами, и через несколько минут устраивается веселый

кружок у огня в обществе остяков, которые наперерыв стараются нам угодить и совсем не отказываются ни от водки, ни от чаю.

Василий Иванович пускает весь запас русских слов в разговор. Мы расспрашиваем его, как он промышляет рыбу и зверя, наши дамы расспрашивают его хозяйку, как она из крапивы сделала себе такую красивую материю на рубашку и сшила себе жилами олений костюм.

Происходит общее знакомство, дети втираются в наш кружок, и через полчаса подвыпивший наш хозяин, совсем распахнув свою мохнатую грудь, уже показывает наглядно, за недостатком слов, как он скрадывает в лесу дикого оленя; берет со стены кремневое ружье, показывает, как он всыпает в него, увидав уже зверя, заряд пороха, как откусывает кусочек свинца и забивает шомполом, как ползет, подкрадывается,— при чем он ложится перед нами на пол и начинает, действительно, ползти,— как прячется за дерево, за кусты, как разглядывает зверя, объясняя нам вполголоса, что это мать с детенышем, как осторожно привстает и прилаживается для прицела, при чем ему подают вместо дерева какое-то полено, как целится и спускает курок, как вскакивает, бежит докалывает раненого зверя, как сдирает с него кожу, пьет горячую кровь, и, наконец, ест его внутренности.

Он разошелся, он в ударе, и его рассказы, живые, наглядные, поучительные, так и рисуют перед нами всю его несложную, но полную движения, интереса жизнь, которую он проводит, непрестанно наблюдая: то рисуют жизнь животных, которую он знает в совершенстве лучше всякого зоолога, то жизнь лесных птиц, уловки и обычаи которых он знает лучше всякого натуралиста, то рыб, жизнь которых не укрылась от него и под водой, в тенистых водорослях, в глубине рек, озер, речек, где он постоянно

наблюдает их, когда возится с сетками, мордами, разнообразными снарядами для их ловли, искусно приноровленными им к характеру и обычаям рыб всякого рода, вида и размера.

И мы заслушиваемся его рассказами о бесчисленных наблюдениях этой незнакомой нам природы и завидуем, что она ему открыта лучше, чем нам в книгах, нагляднее, проще, яснее, занимательнее.

Вон он берет и тащит к нам кучу мерзлой рыбы и высыпает на пол перед огнем камина. У наших ног ерши, окуни, нельмы, налимы, сырки. Все они скорчились, все они в разных позах, какими их застала смерть на морозе, в тот момент, когда их вытряхнула рука остяка из родной стихии и сетки на лед. У окуня белые глаза, у ерша раскрыт рот и поднята щетина, словно он еще боролся, сердился перед смертью за лишение свободы, у налима завит крючком хвост, словно вот-вот он еще старается при помощи его ускользнуть в воду, у нежной нельмы прямое сложение, словно она в обмороке, у сырка раскрытая пасть, словно он кричит, что его душит холод. Но нашего рассказчика это не занимает: он начинает нам объяснять, как профессор в университете, наглядно, что это за сорта рыбы, где она живет, что ест. И нужна не одна эта статья, чтобы передать все его рассказы, которые заняли нас лучше всякой книги.

Его лекция кончается тем, что он начинает нам показывать опыт оживления замерзшей рыбы, которую мы считали уже мертвой.

Он загораживает ее от жарких лучей чувала, отделяет из нее более живучих налимов, и не проходит получаса, как налим начинает раскрывать рот, шевелить перышками и, пущенный в воду, через несколько минут уже там плавает и даже бьет хвостом.

Я помню, этот опыт оживления налима нас так тронул, что мы все решили дать этому налиму полную свободу и велели его отнести и спустить в ближайшую прорубь. Пара ребятишек с радостью взялись это исполнить, и наш воскресший налим, которого бы сварили так же, как и его несчастных товарищей вместе с ершами нам на уху, через минуту же был спущен в реку Обь, в прорубь, в родную стихию и даже всплеснул от радости хвостом, как это передали нам ребятишки, исполнившие это поручение.

Мы не заметили, как пролетел короткий зимний северный денек, и хватились посмотреть на часы только уже тогда, когда солнце стало садиться.

Мы не осмотрели еще Собские юрты, мы еще не гуляли по их окрестностям и потому решили хотя наскоро дополнить ту программу, которую составили еще дорогой.

От нашей компании не отстал на этот раз и наш словоохотливый хозяин Василий Иванович и, напялив на себя мохнатый костюм, пошел с нами и стал объяснять, в какой хижине какой остяк живет, сколько у него ребят и собак, исправно ли он кормит свою семью...

Юрты оказались маленькими — семей семь, все рыболовы, и только один из них — завзятый охотник, промышленник белок, который постоянно поэтому ест мясо.

Среди других юрт были совсем миниатюрные, где жили сироты.

— Как же живут сироты, — спросил кто-то нашего хозяина.

— Мы их кормим, они приходят на общественные ловушки рыбы, и мы даем им свою часть. В другое время сами заносим им рыбы, если слышим, что у них нет ничего для варки, в другой раз они приходят к нам и берут то, что нужно, сами, даже не спрашивая.

— И никто не сердится на это?

— Зачем сердиться? Мы будем стариками, у нас останутся сироты, они нас, и их кормить тоже будут,— ответил вполне резонно наш Василий Иванович.

Из юрт в лес вела торная дорожка, мы пошли по ней и скоро поднялись на высокую горку, с которой, как на ладони, видна была вся остяцкая деревушка. Она, как горсть игрушечных домиков, стояла на самом берегу реки Оби, кругом был лес, а дальше к востоку могучая река с бесконечными лугами, протоками, островами.

Была уже ночь, поднялся уже высоко ясный месяц, когда мы, наконец, оставили Собские юрты и нашего словоохотливого хозяина.

Нас проводила вся его семья и все собаки деревушки, и мы снова понеслись, сначала по лесу, а потом по необозримой снежной равнине реки Оби обратно к Обдорску. И наш поезд под лунным светом, на этой белой блестящей скатерти снегов, с гиком, криком, уханьем ямщиков, с рогами животными, с снежной пылью, вероятно, казался еще фантастичнее, чем днем, пересекая эту равнину.



I

Юдиком, маленьким самоедом, я познакомился почти тотчас же, как только приехал на Новую Землю, на этот полярный северный остров Ледовитого океана. Я приехал туда как путешественник, а Юдик жил там со своими отцом и матерью.

Чум его отца — старика Фомы Вылки — был рядом с моим домиком. Его мать, маленькая веселая старушка-самоедка, вызвалась мне помогать с первого же дня, как только я высадился с морского парохода на берег. И вот мы с Юдиком — не только соседи на этом острове, но и знакомые.

Скоро он запросто стал заходить ко мне, потом мы с ним подружились, и через месяц я уже беспокоился, если его не видел утром в дверях своего кабинета с сообщением о погоде и новостях.

Погода — это было первое, потому что, судя по ней, еще лежа в кровати, можно было решить: можно ли сегодня

отправиться куда на охоту или в экскурсию; новости, хотя их было мало, все-таки были новостями, потому что других и не было на этом острове, который только два раза в год сообщался со всем остальным светом.

Забежит рано утром ко мне Юдик, скажет, что сегодня хорошая погода, ветер с гор перестал дуть,— и мы с ним уже начинаем мечтать о поездке в море на лодочке; скажет — худая погода, холодно и сыро,— и мы с ним, не торопясь, начинаем пить чай, потом садимся обдирать шкурки разных морских птичек и готовить из них чучела.

Это была любимая наша работа — составлять коллекцию. Юдику решительно нечего было дома делать, потому что промыслял и кормил его пока отец, первый охотник на белых медведей на всем острове, а он только так таскался с ружьем. И вот любознательный мальчик скоро привык ко всему тому, что я делал на его глазах, и стал таким ревностным препаратором, что я наполовину предоставлял ему делать чучела.

Это его очень занимало; он, видимо, любил птиц и на моих глазах порой придавал мертвой шкурке птицы, натянутой на палочку и паклю, такой вид, что она была словно живая: вот-вот или закричит или поднимется на воздух и выпорхнет из моего окна.

Скоро в моем кабинете была масса чучел разнообразных птиц и зверьков — и на полках, и под потолком, куда мы их вешали просушивать, и на столах и на полу. Мать Юдика, которую я просто звал „бабушкой“, только хлопала руками от удивления, смотря, чем мы себя окружили. Она, разумеется, не понимала, зачем мы так возимся в крови и перьях, только пачкая пол и мебель, которые ей приходилось постоянно чистить. Но для нас это занятие имело большое значение, и мы день ото дня окружали

себя все новыми и новыми птицами и зверьками и так сжились с ними, так к ним привыкли, что, кажется, кроме них, ни о ком не думали.

Все эти чучела, словно живые, смотрели на нас стеклянными глазками в разных позах: то сидя на гнезде, то перепархивая с камешка на камешек, то словно собираясь лететь, подняться в воздух. Они были дороги нам не только по воспоминаниям: как мы на них охотились, где мы их увидали, как к ним подкрадывались, как стреляли, как поднимали их с морского берега или просто с волн моря, на которые они падали, распластав крылья,—но мы ими дорожили еще и потому, что мы над ними работали, их оживляли, превращая почти никуда негодную шкурку в ценное чучело.

Однажды, я помню, мы с Юдиком убили и начинили очень удачно белую маленькую лисичку-песца и положили ее на наш диванчик в позе отдыхающего зверька. Бабушка наша, войдя без нас в кабинет, так его испугалась, что моментально выбежала вон и больше уже не входила, пока мы не возвратились с охоты. Она, в простоте своей души, думала, что мы принесли его туда живого. Когда мы рассказали ей, что это уже чучело, то даже и тогда она долго боялась, посматривая подозрительно на пушистую мордочку этого сердитого зверька, словно опасаясь, чтобы он и в самом деле, даже мертвый, не бросился на нее.

И работая так в кабинете, наполняя его день ото дня разными чучелами, я с удовольствием засматривался на этого самоедского мальчика, который вертел в руках какую-нибудь птичку или зашивал ей брюшко нитками, чтобы не помять ее нежных, тонких перышек, или обдумывал, какую ей придать позу. И бледное личико его с черными любопытными глазами и курчавыми прядями черных, как смоль,

волос, было в эти минуты детского задумья так хорошо, что я часто думал снять его так на желатинную пластинку.

Он был уже не ребенок: ему, как говорила его мать, шел уже пятнадцатый год; но ни по физическому развитию, ни чем другим он еще не отличался от маленького мальчика, и бледный, с слабым сложением, он скорее производил впечатление ребенка. Он редко когда говорил: от него никогда нельзя было допытаться долгого рассказа; но зато он так любил слушать, когда я что-нибудь рассказывал ему, словно всякое слово для него была ни весть какая важная новость... И я порой даже улыбался, видя, как он слушает меня с полураскрытым ртом и широко раскрытыми черными глазами.

И это совсем немудрено, потому что он ровно ничего не знал, кроме своего полярного, вечно в снегу, острова и птиц и зверей, никогда не бывал на материке, никогда не видал нашей ни городской, ни деревенской жизни. Все это его страшно занимало, все это было для него такою же новостью, как нам, людям материка, море и его остров, затерянный в Ледовитом океане. Он постоянно меня спрашивал, останавливая в разговоре: что такое купец, что такое церковь, какая это столица, и как там живут люди, что едят и чем промышляют... И я мало-помалу невольно знакомил его, раскрывая перед его детским умом, который все запечатлевал в себе с такой верой, с нашими городами, народом, хлебопашеством, скотоводством и тысячей мелочей, то рассказывая ему, то показывая на фотографиях и картинах.

Последние были для него чем-то необыкновенным, и он в другое время с какой-то особенной задумчивостью перелистывал мои иллюстрированные журналы, рассматривая

там картинки из бытовой жизни. Его занимало решительно все, потому что все, что было у меня в кабинете, кроме наших с ним чучел, было для него новостью, и стоило мне взять в руки бумагу, как он уже допытывался, из чего и где, и как ее делают; стоило мне взять в руки карандаш, как он останавливал меня вопросом: как он пишет, кто его изобрел?.. Ему было до всего дело, и он, расспрашивая, порой ставил меня в такое положение, что я иногда даже должен был рыться в своем энциклопедическом словаре*, чтобы объяснить ему правильно то, что было нужно.

Результатом всего этого было то, что он страшно пристрастился к науке, с которой я его невольно таким образом познакомил, и стал просить меня, чтобы я его научил читать и писать.

Я стал учить Юдика грамоте, и через какие-нибудь две недели он уже не только читал, но даже стал и понимать прочитанное, благодаря тому, что я ему объяснял всякое новое мудреное для него слово.

Таких мудреных слов для него была пропасть: встретится слово „лес“, и он уже не знает, что это такое, потому что леса на его острове совсем не водится, так как остров этот полярный; встретится слово „лошадь“, и нужно показать ему ее на картинке, чтобы он понял, что это за зверь, потому что они ездят на собаках; и так как на Новой Земле многого не было из того, к чему мы привыкли с детства и знаем, то нужно было, уча его грамоте, посвящать его совсем в новый мир, словно он только что родился.

Скоро мой Юдик так погрузился в любимое новое занятие — чтение, что только и сидел с книгой. Он даже спал

* Энциклопедический словарь — книга, в которой дается объяснение всевозможных слов, касающихся разных наук, искусств, ремесл и т. д. Все слова подобраны в нем по алфавиту.

с ней, валялся на шкурах своего чума и, кажется, расставался с ней охотно только тогда, когда я звал его с собой в экскурсию или на охоту.

II

Охоту он любил чрезвычайно, и я, будучи сам страстным охотником, всегда находил в нем не только хорошего опытного проводника, но и товарища по охоте. А охотиться в горах и на море мы с ним не упускали случая каждый раз, как только этому благоприятствовала погода.

Скажет Юдик, что сегодня утро прекрасное и на море тихо, и я уже вскакиваю с постели и подбегаю к окну, чтобы посмотреть на рассвет ясного дня, который бывает весьма редко на этом полярном острове.

И вот начинаем торопиться: пьем наскоро чай, собираем патроны, чистим ружья, еще не определивши, куда направиться: в море ли на нашей легкой парусной шлюпочке или в горы, где бродит порой столько диких оленей и бегают белые песцы.

Решаем ехать в море. Берем с собой дорожный чайник и припасов на день и отправляемся.

Как хорош ясный день на полярном острове! Море, залив — как темное зеркало с чуть-чутьдвигающимися, ровнопологими валами после ветра. Дальние острова словно спят на его синей поверхности, чернея и отчетливо обрисовываясь каждым мыском, как будто тут нет и воздуха, а дальний горизонт моря так и слился в каком-то легком голубом тумане с синим безоблачным небосклоном. Обернемся назад, а там еще лучше того — стоят горы: в прозрачном воздухе на целые версты видно, кажется, каждый камешек. Ближайшая вершина горы вот словно тут, и белые пятна снега, не успевающего растаять за лето, так и блестят под лучами

низкого солнца, рассыпая кругом себя ореол разноцветных лучей. Но тут ни движения, ни звука, все мертво, пустынно, дико; а там, в море, совсем другое, и нас невольно тянет туда, к жизни, движению. Донесшийся в воздухе крик морской чайки, словно песня какая, отзывается в груди и заставляет сильнее биться сердце.

— Поедем скорее!— говорит Юдик, чувствуя удачную охоту.

Мы бодро сталкиваем шлюпочку и ставим на нее маленькую мачту; течением уже нас отнесло от берега. Я сажусь на руль, Юдик поднимает парус, и легкий ветерок, который вечно, даже в тихую погоду, тянет из ущелья гор, уже натянул его и тихо, плавно, неслышно понес нас к дальним островам, которые тоже, словно как и мы, плавают далеко в море.

Хорошо! Запах морской воды так и вливается в легкие,— дышишь полной грудью; шлюпка ровно то поднимается, взбегая на гребень тихого, пологого океанского взводня-волны, то опускается, когда он проходит. Вода синяя и темнеет на глубоком месте; по поверхности плавают чудные медузы*, и порой недалеко от нас, всего метрах в двадцати, вдруг высунется мокрая, блестящая на солнце голова тюленя, который уже любопытствует: кто скользит по его вечно мирным волнам, покачиваясь на белой шлюпке? Выплывет, высунет голову, постоит так несколько секунд, фыркнет, изогнет свою круглую, жирную, лоснящуюся спину и брызнет хвостом, скрывшись снова в свое царство чудных громадных водорослей.

А мы и плывем неслышно, тихо подвигаясь, замечая свое движение только потому, что напротив нас двигаются одна

* Медузы — небольшие морские животные; тело медузы представляет мягкий студенистый колокол, со dna которого свешивается вниз хоботок.

за другой громадные пологие волны, где-то далеко уже позади громыхающие о каменистый берег нашего острова, вспенивая там его воду.

Острова начинают вырастать. С моря доносятся голоса птиц: кричит звонко морская чайка, доносится смутное воркованье гаг, и вот около нас уже начинают с криком носиться, не то радуясь, что видят человека, не то предупреждая о нас, белые легкие увертливые чайки с черными головками и приятным, нежным криком, который не устаешь никогда слушать.

Юдик пытливо следит глазами за их легкими, неслышными движениями, слушает их, и по его лицу видно, что он их давно изучил, знает все их движения и любит ими. Он лежит теперь на носу лодки; видимо, все его существо наслаждается этим ровным покачиванием на волнах.

Но вот мы уже около острова и плывем мимо его отвесных пенящихся берегов. Они высоки, они все из камня до самой вершины, и только там видна глазу узкая полоска зелени, словно яркий бордюр на этом темном фоне. На нем — ни души, ни движения; туда только изредка разве опустится какая чайка с добычей, чтобы ее растерзать на утесе; но зато какое движение, какая жизнь внизу, у россыпи камней, постоянно омываемых морем! Сколько тут разнообразных птиц плещется в воде и ныряет, сколько летает в воздухе, сколько сидит на воде, качаясь на волнах!.. Это — место, где больше всего может питаться разная морская птица; это — место, где больше всего подходит мелкая рыба к берегу и теряется в роще водорослей, которыми сплошь покрыто дно у таких выдвинутых в море островов.

И мы плывем мимо черных гагарок, которые ныряют тысячами и кричат без умолку; проплываем мимо целого стада морских чаек, которые кружатся над этим местом. Лишь

только какая-нибудь гагара вынырнет из прозрачной голубой воды с мелкой рыбкой во рту, как чайки стрелой налетают на нее и отнимают добычу. Вокруг так и носятся над ними стада тупиков и других птиц, которые так любят эти острова и редко залетают на наш берег.

Еще немного, и перед нами расстилается уже безбрежное синее море, где видны только белые полосы пловучего льда, да вода, да голубое небо, без конца, без границ; и кажется, что в центре этого беспредельного пространства только мы одни с Юдиком на своей маленькой лодочке.

Там, на пловучих белых льдах, спят на солнышке тюлени. Юдик ясно видит их простым глазом; но я этого видеть не могу, беру бинокль и застываю в очаровании: недалеко перед нами теперь видна громадная пловучая белая льдина с горками голубого льда, в котором играют лучи солнца. Она вся отразилась в воде и смотрится в нее всеми своими выступами, всеми своими неровностями, со всеми оттенками лазури. На ней, у самой воды, мирно спит большой черный тюлень, шкурка которого уже высохла на теплых лучах солнца и блестит, серебрится каждой седой шерстинкой. Он нежится, он даже повернулся своим белым брюшком к солнцу,—так приятны ему его лучи, и короткие ласты его, словно рукавички у туловища, то топорщатся, как бы захватывая это тепло в прозрачном свежем воздухе, то беспомощно опускаются, скользя вдоль сизой его шкурки.

Он спит, а Юдик уже проснулся от забытья и созерцания и теперь сидит со своей винтовкой, зорко сторожа его пробуждение, чтобы пустить в него пулю. Я правлю прямо на эту льдину. Шлюпка неслышно подходит ближе и ближе; льдина тихо покачивается, отражаясь в воде, и животное, ленивое игривое животное, уже можно рассмотреть все

невооруженным, простым глазом. Я спускаю парус; шлюпка тихо подходит еще ближе к тюленю. Юдик и я застываем в ожидании, когда животное пробудится и увидит под носом врага. Тюлень не просыпается. Юдик медлит спуском курка и оглядывается на меня, словно указывая, как хорош этот тюлень среди родной обстановки... Но вдруг тюлень встрепенулся и поднял голову. Мы видим его большие черные испуганные глаза, и выстрел, оглушительный выстрел, с дымом и огнем раздается с носа и на секунду застигает все, чем мы только что любовались, едва переводя дыхание.

— Молодец, Юдик! — кричу я и вижу, как безжизненно распластался на месте тюлень, едва вздрагивая своей пушистой, серебристой шкуркой и окрашивая лед красной кровью там, где лежит его беспомощная голова. Юдик живо выскакивает на льдину, бросает на ходу маленький якорек, и мы оба уже на пловучей льдине идем к мертвому тюленю и останавливаемся, следя за судорожными подергиваниями кожи, которая так и блестит, отливает на солнце.

Мы разгуливаем по льдине как по земле, — она большая и толстая, — взбираемся на ее высокие бугры, чтобы осмотреть море, и с них нам видно, хорошо видно, множество таких же, как наша, других льдин, и сколько там зверей и птиц лежат и сидят на них в качестве пассажиров! Чудная картинка! Вон там сидит на льду целое стадо гаг, и к нам доносится их воркованье; тут, ближе, на обрыве льдины, лежат такие же, как наш убитый, тюлени; там плещется в воде стадо люриков*, тут пищит другое — черных чистиков, которые словно сошли с ума, радуясь теплоте редкому дню, и гоняются друг за другом, раскрыв широко свои красные клювы.

* Люрик и чистик — повоземельные птицы.

Сколько красок в этой картинке, сколько света от этих льющихся на море лучей! Юдик застыл пред этой чудной картиной его родины, хотя он видел ее, быть может, в сотый раз. Я завидую ему, что он вечно живет на этом острове, любит такие картины природы.

Этот океан, эта жизнь моря, этот потонувший позади нас гористый остров — единственная его школа, где все знания, все впечатления не вдалбливаются в его свежий мозг, а просто струей, неудержимой струей, вливаются в его душу и поднимают ее, отрывают от земли.

Случилось так, что он не узнал, кроме этого, ничего уже на свете, хотя бедняга страшно желал, рвался увидеть свет, быть-может, воображая, что он так же всюду хорош, как его полярная чистая бескорыстная родина с разнообразием и вольной жизнью дикаря.

III

Это случилось в первую же зиму, как только я приехал на этот полярный остров.

Я подумывал уже вывезти Юдика на следующее лето в Архангельск, чтобы показать ему чудеса нашей жизни, которым страшно удивлялся его пытливый ум. Он уже много прочитал и узнал из моих рассказов, он уже мечтал об этой поездке, — как случилось нечто совершенно неожиданное даже для жизни самоедов.

За промелькнувшим летом, коротким полярным летом, наступила сразу зима; наши горы покрылись снегами и сугробами, наш залив замерз и подернулся синим льдом, а потом и на него нанесло массу снега, и скоро мы ровно ничего не видели, кроме белого необозримого снега, только с гор рассматривая узкую полосу синей незамерзающей воды океана.

Эти льды угнали из наших глаз море, этот снег совсем скрыл от нас и то, что мы видели в голых горах. Полярная ночь совсем, казалось, скрыла от нас весь остальной мир, погрузив нас во мрак трехмесячной суровой ночи. За шумел буран; стужа, страшная стужа, сковала камни и море. Ночь все сокрыла от наших глаз, и если мы с Юдиксом еще могли любоваться природой, то только ясной ночью смотря на синее небо, по которому или тихо плыли ясные звезды, словно застывшие от мороза на небе, или его бороздили лучи северного сияния, которое, как зарево пожара, подчас охватывало весь небосклон. Такие ночи мы страшно любили и долго просиживали, укутанные в теплые оленьи шубы, на нашем сугробе, куда мы порой выходили и днем, если так можно было назвать чуть-чуть заметную зарю.

Там, на сугробе, на обрыве берега, мы уже не говорили, а только следили и думали, любуясь северным сиянием. Мы затаивали дыхание, когда словно невидимая рука раскрывала нам самое небо. Мы едва верили своим глазам, когда перед нами начинали двигаться, кружиться, скрываться и снова выступать огненные разноцветные столбы; красным огнем загоралось все небо...

И наш остров, полярный остров, потерянный в этом мире чудесного, с его снежными горами и далеко шумящим морем, казался таким милым и дорогим, что мы в эти минуты едва ли его променяли бы на какой другой край, даже тропический, только из-за этой небесной картины.

И минутами, когда над нами вспыхивал особенно яркий синий огонь и разгоралась волнующаяся лента, мы почти не узнавали знакомую летом картину,— когда наши горы вдруг обливались синим светом, когда льды моря вдруг словно вспыхивали, как вспыхивает темной летней ночью все окружающее при ярком свете молнии.

Тогда мы закрывали глаза, чтобы навсегда удержать и этот тихо мерцающий свет, и эти озаренные льды моря, и эти очаровательные горы, которые, словно нарочно, показало нам это чудное северное сияние в том виде, какой даже не может нарисовать нам воображение. И мы лежали, следили за этой игрой неба долго, молча, неподвижно, даже не чувствуя, что нам холодно, что мы дрожим.

Но это были редкие моменты нашей жизни. Ясное звездное небо покрывалось тучами, с гор начинал дуть страшный ветер, в воздухе начинал кружиться снег, и природа, показав нам это зрелище, словно торопилась опять принести нам стужу и ужас полярной ночи.

В такие дни и ночи было даже страшно выходить. В воздухе стояла одна снежная пыль, захватывающая дыхание; наш домик дрожал и трясся от порывов, страшных порывов ветра. Кругом ничего не было видно даже аршина на два, и холод прохватывал наше тело, словно на нас совсем не было одежды.

В такие дни, случалось, мы даже не выходили из дому, не знали, что делается в каких-нибудь десяти саженях от дома, в чуме у соседей. Мы не смели выглянуть на улицу, потому что между нашими домами ветер накидывал такие сугробы, что они были вровень с нашими крышами. И только, бывало, попробуешь высунуть за дверь свой нос, как тебя или обдаст целой горстью снежной пыли и запорошит глаза, или просто бросит и понесет по гладкому, убитому ветром, снегу в сторону, откуда уже трудно попасть в дом.

Эту зиму стояла особенно бурная и снежная погода. Наши дома еще с ранней осени занесло снегом. Перед моим окном был такой сугроб, что мы не видали неба, и мы с Юдиком сидели почти все время со своими книгами и чучелами в

кабинете и только изредка выходили на улицу, чтобы подышать чистым воздухом и размяться.

Это было довольно тяжело: хотелось света и воздуха, хотелось хоть на минуту еще увидеть солнце, которое давно уже скрылось и теперь только показывало нам порой свою зарю то в бледно-голубом виде, то розовую с легкими облачками.

Но все это было бы еще ничего, если бы самоеды достаточно заготавливали мяса тюленей и оленей, которым они почти исключительно питаются; но самоеды беспечны и редко запасают провизию на зиму. На нашем острове наступил голод: олень куда-то отшатнулся в сторону, к другому берегу; льды угнали тюленя дальше в океан, и наши самоеды, а в том числе и отец Юдика, старик Фома Вылка, сидели почти на одном хлебе и чае, скучая о куске мяса.

Погода, как на зло, не унималась всю осень, и вот только что наступили зимние тихие дни, как наша маленькая колония поднялась на ноги и стала расходиться, разъезжаться по сторонам от этого негостеприимного берега. Самоеды один за другим собирались артелями и ехали кочевать на другую сторону острова. Скоро и старик Фома, как я его ни упрашивал остаться зимовать со мной в колонии и не разлучать меня с Юдиком, стал собираться в дальний путь, за сто верст, на берег Карского студеного моря.

Там он зимовал уже не один раз; там, по его словам, теперь должны быть непременно олени, и он упорно стоял на своем, несмотря на то что оттуда неслись плохие вести: говорили, что будто бы, олень ушел в эту зиму на другой соседний остров, и там, на берегу Карского моря, так же голодно и холодно, как и здесь, на берегу Ледовитого океана.

Но старик был упрям, и вот однажды, в серенькое утро, когда перестал дуть горный ветер, ко мне заходит невесе-

лый Юдик и говорит, что сегодня они едут, и что старик уже укладывается, готовый пуститься с ним в дальний путь. Он увозит с собой и мою добрую бабушку, которая так любовно за мной ухаживала со дня моего приезда.

Я вышел проститься со стариком, пожать руку Юдика, прося не забывать меня там и поскорей дать мне вести об их жизни.

Пара санок, запряженных собаками, тронулась в горы, чуть-чуть видимые в темноте полярного дня. Собаки завыли, старик Фома взял длинный шест, которым он правил, Юдик вскинул на плечо ружье, санки двинулись, бабушка присела в них на свой багаж, и через минуту-две они уже скрылись все в темноте полярного дня, словно растаяв в этом сером воздухе.

Я посмотрел в их сторону, послушал и отправился снова в свой кабинет, который словно осиротел с этой печальной минуты.

IV

Прошел день, прошел другой, начались бури. Я погрузился в свои обычные занятия. Юдик, его мать и старик Фома с вечно включенными волосами рядом с своей старушкою,—все они казались мне точно в сновидении, начиная отходить в область прошедшего.

Потянулись недели, прошел месяц, но вестей от Юдика никаких; и самоеды, изредка возвращавшиеся с того берега, куда ушел с семьей старик Фома, только приносили одни печальные вести, говоря, что они там чуть не умирают с голода.

Около рождества, когда наступила уже настоящая полярная беспросветная ночь, и начались сильные морозы, самоеды стали поговаривать уже о том, жив ли старик Фома Вылка.

Вестей от него никаких, и порой, в разговорах с самоедами вспоминая о старике, мы как-то невольно все вдруг замирали и притихали, словно предчувствуя что-то недоброе с этой семьей.

Но ехать туда было невозможно: никто не знал, куда мог уйти этот своенравный старик; остров велик, следов его не отыщешь,—и мы стали ждать, горько сожалея, что отпустили его отсюда, где все же нельзя было умереть от голода или стужи.

Однажды ночью, когда я спал, в мою комнату ворвалась самоедка и разбудила меня страшным шопотом:

— Вставай, вставай! Фома явился... притащил Юдика... Чуть живы... голодны... пропадают...

Я не верил своим ушам. Мой пес вдруг завыл, словно слышав что-то недоброе, и я не помню, как накинул на себя второпях одежду, захватил бутылку красного вина, фланель и бросился в соседний домик, откуда прибежала женщина.

Бегу за ней, забегаю в ее сени; она говорит:

— Вот здесь, на пороге, его нашли, Фому-то... Лежит, стонет... Собаки уже залаяли, так вышли... А Юдика — у дверей, на улице... Едва их принесли в избу...

В сенях полно собак, так что мы едва протискиваемся. Я вбегаю в полутемную избу, освещенную единственным мерцающим ночником, который горит где-то на полке, распространяя удушливую копоть. Изба полна самоедами; все стоят около переднего угла нар, и мне ровно ничего не видно из-за спин, всклокоченных голов.

Растолкав народ, я пробился в передний угол и остановился в ужасе. Передо мной, прислонившись к стене, прикрытый какой-то оленьей шкурой, голый, со страшно грязным телом, с диким выражением глаз, с всклокоченными во-

лосами, сидел какой-то старик, седой страшный старик, в котором почти ровно ничего не было похожего на Фому Вылку. Щеки его были сплошь отморожены и покрыты какими-то черными пятнами, вероятно, от дыма и грязи, нос совсем почернел, а лицо, тело, скорченные ноги — были до того худы, грязны и черны, что страшно было смотреть.

— Фома, Фома! — прошептал я.

Старик меня признал и протянул мне из-под оленьей шкуры до того худую, черную, страшную, волосатую руку, с отмороженными скорченными пальцами, что я не решался дотронуться до нее. При этом движении оленья шкура скатилась с его плеч, и я увидал перед собой такое костлявое тело, что в ужасе отшатнулся.

Фома, бедный старик, заметил это и, не дожидаясь вопроса, что с ним такое случилось, чуть слышно шевеля раздутыми от мороза губами, прошептал:

— Пропали мы, совсем пропали!.. Беда!.. Как уже дошли — не знаю, не помню... Отощали...

И Фома, вздрагивая всем телом, как-то по-стариковски тяжело застонал тонким голосом и вдруг заплакал и повалился к стене, о которую опиралось его тощее тело.

— Юдик, Юдик где? — вдруг бросилась мне в голову страшная мысль, и от предчувствия сжалось сердце.

— Вон там! — сказал кто-то мне в ответ. Толпа расступилась перед другими нарами, рядом, и я увидал на них какую-то совсем незнакомую фигуру, скорчившуюся, полуголую, тоже прикрытую только шкурой оленя. Эта фигура, не обращая внимания ни на что, глодала мерзлую, сырую оленью ногу.

— Юдик, Юдик! — бросился я к нему.

Но он молчал и продолжал свое дело, держа кость неминуемо тощими, черными от грязи руками у самого рта.

Я дотронулся до его худого плеча, спросил о чем-то, но он, точно сумасшедший, пробормотал мне что-то, вероятно не узнавая меня.

„Сошел с ума“, — подумал я и с болью в сердце смотрел на эту скорчившуюся страшную фигуру своего друга, который теперь походил скорее на голодного зверя, чем на человека, поглощенный только тем, что было у него в руках, — видимо, потеряв рассудок.

Я попросил самоедов, чтобы они отняли у него кость; я говорил им, что теперь ему опасно есть много, что голодные умирают, наевшись досыта сразу, что лучше дать им чаю, вина. Но самоеды стояли молча, с вытянутыми лицами, видимо, и сами не придя еще в себя от того, что они увидели, что они вдруг узнали, проснувшись и сбежавшись на крик того, кто первый нашел Фому и его сына. Они рассказывали только, как они услышали вой и лай собак, как, засветив огонь, они вышли и нашли в сенях умирающего, бессильного старика. Они рассказывали, как втащили их в избу, как снимали с них на этом грязном полу их смерзшиеся страшные одежды, полные снега, как усадили их на эти нары и дали им мяса и уже потом бросились ко мне за помощью... И все их рассказы, острым ножом врезывались мне в сердце, мешая что-нибудь предпринять.

Но, наконец, я упросил женщин перестать бесполезно стоять перед несчастными и поскорее нагреть воды и заварить для них чаю. Потом я попросил помочь мне дать им хоть по глотку красного вина, чтобы согреть их дрожащие, замерзшие тела, которые самоеды напрасно старались отогреть оленьими шкурами, накинутыми на их худые голые плечи.

Женщины бросились растапливать печку. Я уговаривал старика Фому не есть больше мерзлого мяса и подал ему

в первой подвернувшейся чашке красного вина, упрашивая его поскорее выпить, чтобы согреться.

Бедный старик, все еще дрожа и всхлипывая, бросился ко мне, обхватил чашку своими отмороженными пальцами и стал жадно пить, процеживая вино между стиснутыми зубами... Но вдруг он перестал пить и со стоном протянул руку к Юдику, должно быть, вспомнив о сыне, жизнь которого, видимо, была ему дороже всего. Я успокоил беднягу, сказав, что я дам Юдику другую чашку, что у меня еще много вина. Тогда он снова жадно припал к своей чашке, с трудом глотая вино, но чувствуя, что в этом вине его спасение.

Кое-как удалось дать и Юдику выпить немного вина, и после того оба впали в полузабытье, и мы стали их обмывать на полу теплой водой и обтирать их грязное, понемногу согревающееся тело. Они покорились всем этим манипуляциям, как дети, только знаками показывая иногда, что теперь им хорошо, что теперь им хочется только уснуть и забыться.

Скоро, повозившись с ними, мы согрели их окончательно и уложили в мягкие постели из оленьих шкур.

Юдик заснул моментально, а бедный старик, казалось, все еще боролся со сном и что-то хотел нам сказать. Когда я закрывал его теплым одеялом и нагнулся спросить, не хочет ли он еще чаю, он схватил мою руку, сжал ее, насколько у него хватило сил, своими костлявыми пальцами, и пробормотал:

— Спасите старуху... старуху... Осталась на Карской стороне... Мы с Юдиком в снег ее зарыли. Жива ли — не знаю...

Голос его оборвался, и он заплакал.

Я совсем, было, забыл про бедную бабушку, и его слова страшно поразили меня.

Старик стал что-то толковать самоедам, обступившим его при этом известии, называл им какую-то речку, какую-то гору, у которой они с Юдиком зарыли старуху.

Самоеды вдруг заволновались, заговорили в один голос, заохали, и пока старик засыпал, успокоившись, что спасут и старуху, все приступили к обсуждению вопроса, как мы будем спасать ее, когда она лежит в снегу с несколькими кусками мяса и подохшей любимой своей собачонкой, которую я ей подарил этой осенью. Она лежала верстах в ста; дорогу туда знали немногие, место — почти никто, и нам пришлось немало обсуждать все это, прежде чем притти к решению немедленно отправить туда двух человек из лучших наших собак.

Я собрал все, что необходимо для первой помощи, и утром, как только стала брезжить заря, мы проводили своих разведчиков в дорогу на паре санок, которые скользнули по мягкому снегу только что стихшего бурана и быстро исчезли в темноте.

Нам стало спокойнее: мы верили, что они ее отыщут.

После полудня снова заревела буря; в воздухе закружился снег; на дворе стало темно как ночью, так что, кажется, не вышел бы и на десять аршин от дома.

Вечером буря разыгралась настолько, что у всех была одна мысль, что наши разведчики погибнут. Женщины плакали, дети не знали, что делать, а самоеды толковали, вспоминая, как трудно в такое время бывает в дороге. Мне было также страшно оставаться с мрачными думами одному и слушать их рассказы про те страдания, какие выносят они в такую погоду, застигнутые бурей в пути.

Я долго не мог уснуть в эту ночь, прислушиваясь к буре. Крыша дома трещала, печка вздрагивала: окна так обхватывало снегом, словно в них кто бросал лопатами. По

комнате, казалось, ходили вихри, и огонек моей лампы бросался в разные стороны, разбрасывая тени по всему кабинету.

Как вдруг ночью ко мне снова, как и вчера, вбегают женщина и говорит:

— Воротились наши... Чуть сами не попали в погоду... собак потеряли. Беда, какая погода...

И прежде чем я успел сообразить со сна, что такое случилось, она уже убежала дальше с этой вестью.

Выскакиваю из комнаты, бегу на двор и застаю там группу самоедов, среди которой стоят с шестами в руках два наших разведчика, забросанные с ног до головы снегом, и рассказывают остальным, как они блудили, как, наконец, выбившись из сил, остановились, чтобы зарыться в снег и переждать бурю, и как потом, спустивши собак, потеряли некоторых из них, потому что бедные животные, сбитые с толку бурей, не зная, что делать, бросились в горы и пропали там бесследно. Рассказывая это, они больше всего жалели одного черного мохнатого водолаза, которого только что этой осенью я вывез из Архангельска.

Потеряв несколько собак, самоеды, разумеется, не могли дальше пуститься в дорогу и воротились, чтобы запастись свежими собаками. Мы обогрели их, снабдили еще кое-чем на всякий случай, и они утром снова отправились в путь на розыски бедной старухи. Наступило снова томительное сжидание.

Больные были в забытье. Они спали целыми сутками, словно намерстывая время, которое они проводили без сна, голодные, в дороге. Но в то время, когда старик поправлялся и, просыпаясь, хватался за пищу, бедный Юдик терял силы с каждым днем, почти совсем отказываясь есть что-либо.

Теперь он по временам приходил в сознание, улыбался мне, когда я сидел около его постели, слушал мою речь, узнавал людей; но как только вспоминал, что нет около него матери, которую он, помнит, оставил живой в снегу, на берегу Карского моря, он начинал беспомощно метаться в постели, стонал, обливался слезами и засыпал только тогда, когда впадал в забытие.

У нас разрывалось сердце при виде его горя, и мы думали только о том, чтобы поскорее его успокоить: мы видели, как тает его жизнь; мы догадывались, что он уже у могилы, и теперь желали только одного, чтобы он перед смертью увидал свою мать. Но ее все не было, и наши посланные все не возвращались.

В то время как Юдик болел, не вставая уже с постели, старик, его отец, скоро поправился. Однажды он пришел ко мне в кабинет, все еще хилый, все еще трясущийся, словно он промерз уже навсегда на морозе, все еще с испуганным, диким взглядом, и рассказал, что было с ними на Карском берегу, после того как они с нами простились и отправились искать оленей.

V

Они ушли от нас тогда с небольшим запасом хлеба, надеясь исключительно на тех оленей, которые им встретятся на пути и на берегу Карского моря. Но вот они прошли поперек весь остров и не видали в горах даже следа оленей.

Вот приходят они на берег моря,— но и тут никаких признаков оленей. Море замерзло, как и здесь. На тюленей нет надежды, белых медведей нет и следа, и даже песцы — маленькие полярные лисички, которые обыкновенно любят бегать по ночам около жилища человека в надежде ута-

щитъ что-нибудь съедобное,— и те куда-то пропали, вероятно, почуяв голод.

Юдик с отцом призадумываются, но все же ставят чум на берегу моря, чистят ружья и на другой день отправляются на промысел, все еще надеясь отыскать оленей. Но сколько ни бродят они по глубокому снегу, оленей нет как нет. Тогда они снимаются и идут дальше на север, предполагая, что олени перекочевали туда.

А между тем короткие дни с одной зарей становятся все короче; наступает почти беспросветная ночь, а бури свирепствуют все ожесточеннее, все страшнее. Подвигаться по глубокому снегу трудно. Проходит неделя за неделей, бури не стихают, провизия выходит. Путники уже сами, вместе с своими собаками, тащат санки, побросав все лишнее, чтобы легче было идти. Вскоре собакам перестали давать хлеба; вскоре собаки отказались тащить санки старика Фомы, где у него лежал чум — единственное их пристанище и надежда в бурю. И вот старик со слезами на глазах заколол одну собаку и отдал ее остальным; чтобы они подкрепили свои силы и помогли ему тащить чум.

Но собаки не захотели есть своего брата. Они окружили его труп и так страшно завyli, что старик не знал, куда деваться от этого воя, как будто предрекавшего ему его собственную горькую участь.

После этого стала пропадать одна собака за другой. Старик и Юдик тащили санки уже сами. Снег был очень глубок, и, выбившись из сил, они подвигались так медленно, что делали не больше пяти-шести верст в сутки, каждый день оставляя за собой в снегу мертвую собаку. Это было ужасно: они теряли тех, на кого была последняя их надежда. Зачастую они не смыкали глаз в продолжение целой долгой ночи, а утром принимались снова тащить санки или

бродили около чума, надеясь хоть что-нибудь добыть для еды, хоть немного мяса для собак. Но кругом ни одного живого существа, остров словно вымер. Даже белой совы, и той нигде не было, тогда как она почти повсюду встречается на этом острове. Собаки не давали им ни минуты покоя: просили есть, подходили, смотрели им в глаза, лизали им руки, часами сидели перед ними, словно спрашивая, когда же кончится эта пытка, выли по ночам перед чумом, и тогда было так страшно, так страшно, что Юдик рыдал, как маленький ребенок, а старики затыкали уши, чтобы не слышать этого воя, и падали в постели и тоже плакали от страха, каждую минуту ожидая, что одичавшие от голода собаки разорвут их.

Наконец, собаки почти все передохли. У них осталось только две ездовых и одна маленькая собачка, с которой бабушка, кажется, делилась тайком последней своей крошкой хлеба. Приходила пора умирать и старикам и Юдику: хлеб кончался, другой пищи не было, и они питались только сухарями, да и то позволяли себе есть только раз в день после утомительного пути. Старик решил сделать еще одну последнюю пробу — сходить в горы — и взял с собой Юдика с ружьем.

Идут, поднимаются на одну из гор, что повыше, посмотреть, не видать ли где оленей, • вглядываются в даль. Но перед ними бесконечная пустыня, которой они никогда не видали. Они не знают даже, куда они забрели и далеко ли оттуда до нашей колонии. Упал старик на камень и заплакал: горько ему стало, тяжело. Стал уже думать о смерти и готов был умереть, да только Юдика ему жаль и старуху. За что они страдают? За что они должны умереть?

Когда они стали спускаться с горы и направились в свою сторону, вдруг перед ними, словно чудом ка-

ким, очутился олень, тощий, исхудалый. Он шел прямо на них, пошатываясь от голода так же, как и они с Юдиком. Сперва они глазам своим не поверили. Потом оба упали в снег, чтобы олень их не заметил: ведь от него зависела их жизнь. И старик так обрадовался, так был взволнован, что даже отказался первый стрелять, предоставив все сыну.

Трудно описать их радость,—она понятна. Они дотащили почти целиком этого оленя до своего чума и первое, что сделали,—накормили оставшихся собак, которые встретили их еще далеко от чума, почуяв кровь зверя.

Этот тощий олень был их спасением. Они потащились теперь в горы, чтобы пересечь их и попасть к нам в колонию; но случилось не совсем так, как они предполагали.

Беда шла за ними по пятам: снег оказался таким глубоким, что не было сил двигаться; оленя хватило не надолго: его почти целиком съели собаки. Наступил опять голод; собаки перемерли, умер и маленький пес старухи; но она не решилась бросить его на пути, как других собак, и почему-то тащила труп его за пазухой, словно еще надеясь, что он оживет.

Наконец, в горах они выбились из сил, санки стали, и старуха приказала мужу зарыть себя в снег, чтобы самим добраться до колонии. Это был единственный исход. Она не боялась смерти, она хотела, чтобы был спасен только ее сын, уверяя, что она продержится живою долго, пока они не возвратятся из колонии. И они зарыли ее в снег, в сугроб, а чтобы не потерять ее среди этой пустыни, поставили над ней шест, так как ее могло всю занести снегом. Было ужасно, когда они прощались и с рыданиями уходили от этой живой могилы.

Как они шли в горах, как они там ночевали, как стра-

дали от голода и бурь, как блудили, — они уже не помнят... Старик помнит только одно, что Юдик не раз падал на снег и просил его бросить, оставить его, чтобы он мог хотя умереть спокойно, потому что ему было тяжело и холодно. Но старик не оставил его и силой тащил за собой, за руку, или просто волок его по снегу, когда он уже не мог двигаться сам. Он, как оленя, выносил его на гору; он, как вещь, стаскивал, волоча за собой, его с гор и в таком виде, голодный, усталый, измучившийся, наконец, увидел колонию, подошел к своему дому и тут упал без сил, только крича, чтобы его спасли от смерти.

Его сил хватило только до порога, через который он уже прополз один, оставив Юдика почти без чувств. Он не мог даже постучаться в двери, так как совсем уже лишился сил.

Тут его и нашли ночью самоеды, когда наши собаки подняли лай, заслышав чужого человека.

VI

Только через восемь суток после того, как явился Фома с Юдиком, воротились наши посланные.

Был вечер. У меня сидели самоеды, не переставая на тысячу ладов говорить о розысках старухи. Мы думали, что пора уже ехать разыскивать наших посланцев, как вдруг залаяли собаки, им откликнулись другие, со стороны, и к нашему дому, только что мы выскочили, подъехали и остановились санки. Это привезли бабушку, и проводники ее сказали нам, что она еще жива.

Бабушку живо отвязали от санок и, как спеленутого ребенка, внесли в дом. Когда раскрыли оленьи шкуры, в которых она была завязана, то старуха оказалась живехонькой и даже улыбалась.

Оказывается, она преблагополучно пролежала в снегу больше недели, и только, когда пришли к ней люди, она вообразила, что это бродит смерть, и так перепугалась, вылезши из снегу, что тут же повалилась в обморок, думая, что умирает. Ей все мерещилось, что кто-то ходит вблизи; она часто выползала и подолгу сидела у своей норы, вглядываясь в горы; ей все слышались колокольчики, скрип снега, лай собак. К ней не раз прибегали белые лисички, и она была так рада им, что кормила их, бросая чуть ли не последние куски мяса, которые она берегла себе... И ей жаль было, когда лисички убегали в горы, хотя она хорошо знала, что умри она,—и они будут обглаживать ей нос, уши и потом к весне, теплой весне, съедят ее всю, не оставят даже косточки на месте. Порой ей слышалось, что около нее ходит белый медведь, нюхает ее снежную хижину, и она замирала от страха. Порой она засыпала, и ей снилось, что она в тепле, со своим Юдиком, и слушает, как он читает вслух, хотя это был только однообразный шум бури, которая выла над нею целыми сутками, заноса ее еще больше в этой молчаливой снежной могиле. Она говорила, что ей совсем не было так страшно, как мы предполагали: она ни минуты не сомневалась в том, что ее спасут; она верила, что старик доплетется до колонии, и только жалела, сильно жалела и боялась за Юдика, которого страшно любила. И только что ее раскутали, только что ее распеленали от оленьих шкур, как она бросилась к Юдику и пала на его раскрытую грудь.

Юдик был слаб, он почти не узнавал ее, разметавшись в горячке, которая его захватила после всего перенесенного. Он только что-то шептал в бреду, чего понять уже было невозможно.

Было тяжело видеть эту мать-старушку у постели своего

сына. Она не отходила более от него ни на минуту и, заходя в их чум, часто можно было видеть, как бедные старики сидели у постели сына, не сводя с него глаз, думая какую-то грустную одну и ту же думу.

Буря сразу стихла, и утром, когда мы проснулись, была такая тихая теплая погода, ветерок с юга принес такую оттепель, с моря доносился такой тихий ропот волн, что словно все, что мы только пережили, был сон, а не действительность, и, казалось, доживи наш бедный Юдик до этого утра, вдохни этот соленый освежающий теплый воздух,— и к нему воротились бы силы, и злой недуг оставил бы слабый, истощенный его организм.

Но Юдика уже не существовало: его труп лежал в улу и ждал погребения.

Могилу выкопать не было никакой возможности, потому что земля была мерзлая, как камень, и мы решили поставить гроб Юдика пока в сени, чтобы сохранить его там до весны, что часто делают самоеды. Они обыкновенно зарывают в таких случаях покойников до весны в снежный сугроб, и мы то же хотели сделать с Юдиком, но старики решительно воспротивились, страшно боясь, чтобы туда не повадились бегающие ночами песцы и не объели бедного Юдика. И мы поставили гроб в сени.

Это страшно всех беспокоило: суеверные самоеды боялись выходить ночью на улицу; дети дрожали от страха, проходя мимо места, где стоял гроб; но всех тяжелее было старикам, которые почти не отходили от гроба день и ночь, сидя на крылечке даже в непогоду и безучастно смотря перед собой в море.

Так прошло несколько недель, так мы встретили снова появившееся солнышко, так мы встретили первые признаки весны, и только тогда, при свете солнца, когда оно

в первый раз облило этот остров своими красными лучами, была, наконец, выкопана около нашей колонии могила.

С появлением дня все изменилось в природе: солнце день ото дня стало больше и больше оставаться на горизонте, появились первые перелетные птички в открытом море, снова загудел птичий мир, на голой черной скале запел снежно-белый жаворонок, в синем небе закружился орел, лед унесло, и у нас наступила чудная пора буждается от сна, слеза время.

I



а Новой Земле
У меня есть одна
знакомая самоед-
ская девушка, ко-
торая уже тринадцати лет была
белых медведей.

Эту замечательную девушку все знают на этом полярном острове; зовут ее Таня Логай.

В первый раз я с ней познакомился зимой, когда мы поехали к ее отцу.

Он зимовал от нашей Кармакульской колонии верстах в двадцати, на берегу одного широкого залива, где стояла его маленькая промысловая избушка.

На дворе стоял мороз и к тому же с утра порошило снегом, а с гор срывались порой такие вихри, что поднимали и крутили в воздухе снежную пыль, кой-где пугая нас бураном. Нас уже с нетерпением поджидала пара низеньких самоедских саночек, в которые было запряжено

по целому десятку разношерстных самоедских собак. Они нетерпеливо потягивали, старались освободиться от легких ремешков-лямочек, которыми их привязали к санкам, с надетыми на шеи петлями, что-то в роде хомутов, и были очень рады сорваться с места, как только их вожаки взяли длинные „хореи“—палки и предложили нам сесть и крепче держаться за санки.

Мы сели, закутались и при оглушительном лае собак, которые от радости чуть даже не передрались, быстро скользнули из колонии на лед залива и понеслись вдоль черных, высоких, скалистых берегов моря.

Я очень люблю езду на собаках. Маленькие, длинные низенькие саночки, десяток разношерстных, пушистых, с загнутыми на спину хвостами, собачек, которые так забавно вытянутся на ходу, приподнимут веселые мордочки, поставят торчком уши. Их поспешный бег, их оживление, высунутые языки, порой на бегу маленькая драка,—все это делает поездку такой необычайной, такой оживленной, веселой, что ее не скоро позабудешь.

Легкие санки неслышно скользят по твердому, убитому ветром снегу, скачут по льду, поднимаются на берег, пересекают голый, скользкий лед озера, летят стремглав под гору, раскатываются на поворотах, перепрыгивают через камни и неожиданно слетают с сугробов. При всем этом не нужно забывать, что на Новой Земле нет не только какой-нибудь дороги, но даже и тропы.

Быстро, порой во весь собачий опор, несутся впереди запряженные веером собаки. Они и без дороги хорошо знают, как и их вожак-самоед, куда надо держать путь; им совсем не тяжело тянуть за собой санки с двумя седоками, и порой, когда мы пересекаем свежий след полярной лисицы, им даже хочется попробовать догнать ее, поохотиться на нее

в этом сумраке полярной ночи. Но длинный тонкий шест самоеда, которым он то правит, то тормозит с горы санки,—этот шест направляет собак на настоящий путь, и они, позабыв уже лисичку, снова бегут вперед, и мы неслышно несемся, при слабых сумерках вечера, в полярной пустыне.

Порой, чтобы дать вздохнуть собакам и поправиться самим и обтереть от снежной пыли лицо, мы останавливаемся. Собаки тогда садятся в кружок, ластятся к нам, охорашивают свои пушистые лапки, а мы прислушиваемся, как шумит в горах ветер, как стонут в море, под берегом, льды, как треснет что-нибудь от мороза в самой земле... Минута,—и мы снова несемся дальше.

* * *

Двадцать верст мы промчались в каких-нибудь полтора часа, и вот уже мы на том самом широком, пустынном, с высокими снежными горами по бокам заливе, где зимует самоед Логай с своей многочисленной семьей.

Вон впереди, на низменном, едва видимом, берегу мелькнул огонек. Собаки оживились и с лаем бросились туда во весь дух. К ним навстречу выскочили и несутся другие, и мы, все в снегу, в облаке снежной пыли, быстро, с шумом влетаем на берег и прямо останавливаемся, чуть не в самых сенях зимовальной промысловой избушки, наделав страшный шум и перепугав избушку.

Какая маленькая хижина, где живет этот самоед! Она почти вся, вровень с крышей, занесена снегом, как стенами, обложена с боков высокими сугробами, и только крыша одна да дымовая труба, из которой теперь валит тихонько серенький дымок с искрами, говорят о том, что здесь живут люди.

Через целый сугроб снега мы скатываемся в сени, вползаем в избу и видим настоящую обстановку жилища полярного обитателя. Оно — всего пяти шагов длины; впереди видно маленькое оконце, заткнутое тряпицей; по бокам тянутся нары, широкие, с мягкими постелями из оленьих шкур. При свете ночника, с тюленьим салом и воткнутой туда тряпицей вместо фитиля, мы разглядели, что на нарах сидят в ряд, в оленьих мохнатых костюмах с шапочками на головах, пять маленьких ребятишек, которые с любопытством нас разглядывают, и вместе с ними — пара молодых щенят, которые составляют, повидимому, единственную их компанию.

Против них, в углу, топится очаг, а перед ним стоит жена Логая, которая так нам обрадовалась, что не знает как и чем нас встретить. Дым от очага прямо поднимается кверху и так густо застилает потолок, что его совсем не видно.

Мы с трудом освободились от тяжелых костюмов и только тогда рассмотрели, что в одном углу сидит, не смея пошевелиться, девушка. Это была Таня.

Таня совсем еще ребенок, невысокая, с круглым, смуглым личиком, которое так красили черные глаза, застенчивая. Она, казалось, совсем ни видала людей и была готова, при первом же слове, спрятаться или убежать из хижины. Но ее костюм был так оригинален, что мы невольно засмотрелись. (Через три-четыре года Таню выдадут замуж, и ее наряжали, как будущую невесту). Она была одета в олений, расшитый разными цветными сукнами, костюм, с яркими, красными, синими, зелеными, желтыми ленточками, которые торчали повсюду среди шерсти с замысловатыми узорами из разноцветных шкурок по подолу. Ее косы были так унизаны разноцветными бусами, колечками, даже какими-

то медными пряжками, составляющими, несомненно, драгоценность для самоеда, что она не могла сделать маленького движения, чтобы они не зазвенели. Мы так засмотрелись на оригинальный ее наряд, что не могли отвести глаз.

Нас стали угощать, как гостей. Сварили уху из лососей, которых, оказалось как раз кстати, старший брат накануне наловил с Таней в ближайшем озере,— угостили копченым оленьим мясом, которое нам очень понравилось после дороги и мороза, и мы стали расспрашивать самоедов, как они живут. Уже по самой обстановке можно было судить, что Логай живет небогато, как и большинство самоедов на этом острове, но зато их жизнь была так разнообразна, так оживленна благодаря охоте.

Как только выдастся тихий, без ветра, денек, Логай с сыном, а в другой раз и с Таней, отправляются далеко на морской лед залива, к ближайшей полынье, где так часто показываются тюлени.

Охотники становятся вдоль края полыньи, прячутся за высокие льдины и ждут, когда на гладкой поверхности незастывшей воды покажется голова тюленя. Этот житель полярных льдов очень любопытен, и стоит только ему заметить на льду человека, стоит ему только слышать его шаги, как он уже появляется из-под воды, вытягивает свою круглую голову, и, если человек его не пугает, а еще прячется и свистит, то любопытство и смелость тюленя доходит до того, что он подплывает к самому краю льда, еще более вытягивает толстую шею, еще смелее вглядывается, кто спрятался там за льдиной, пока в его голову не ударит пуля, и он, опрокинувшись навзничь, не затрепещется весь и потом не всплывет уже трупом.

Тогда поспешно сталкивают маленькую промысловую

лодочку, плывут на ней к тюленю, вывозят его на лед и тут же сдирают с него лоснящуюся, пеструю шкурку.

Порой Логай с детьми ездит в горы, где бродят дикие олени, разыскивая белый вкусный мох среди россыпей гор, потому что здесь его не так глубоко заносит снегом, как в долинах. Высмотрев оленей, заметив стадо, охотники подползают к ним на выстрел из-под ветра и стреляют в них из ружей. Перепуганные животные бросаются в сторону и исчезают где-нибудь за первым пригорком, недоумевая, что случилось: они так редко видят человека, что и не знают выстрелов на этом пустынном полярном острове.

В другой раз, когда наступает весенняя пора, когда выдастся тихий денек, эти охотники едут вдоль берега моря, объезжают мысы, осматривают заливы и ищут там белых медведей, которые в это время любят выходить с пловучих льдов на берег, любят бродить в поисках тюленя на льду залива, любят кататься с горок, со снежных заносов и даже гоняются друг за другом и играют.

И это — самая лучшая охота, самое лучшее, незаменимое удовольствие самоедов, особенно, если охотникам удастся подкараулить медведя, догнать его на льду, спустить на него собак, которые займут его лаем, заставят его гоняться, кружиться в погоне за ними, благодаря чему охотнику легко удастся подбежать и пустить в зверя верную пулю.

Но в охоте на медведя редко участвует Таня, хотя у нее есть своя, подаренная ее отцом, винтовка, и хотя она от всей души рада была бы ездить на охоту, так как совсем не боится медведей. Но ее не берут на эту охоту, потому что боятся оставить на долгое время семейство: по ночам, а часто и днем в это время ходят по острову белые медведи, и Таня, в случае прихода незваного гостя, может защищать семью от нападения.

Чаще всего Таня занимается охотой на песцов, на тех маленьких, белых пушистых лисичек, которые сами прибегают по ночам к зимовке, забегают даже, случается, в сени хижины и тащат оттуда все, что только попадаетсся, и нисколько не боятся ни человека, ни собак, с которыми даже порой устраивают игры.

В стороне от зимовья Таня ставит на песцов капканчики, кладет в них, для приманки, кусочки тюленьего сала. Песцы, заслышав лакомый запах, бегут к приманке и попадаютсся в ее капканы.

Каждое утро Таня осматривает эти капканы со своим маленьким любимым братишкой Костей. Порой они застают около капканов, даже при свете дня, песцов, которые, повидимому, нисколько не опасаясь людей, ни за что не хотят бежать в горы без своих товарищей, тоскливо сидящих в капканах, с прижатыми холодным железом лапками.

Так как песцы кусаются слабо, а часто и совсем не сопротивляются, позволяя себя взять в руки, то Таня берет их рукавицей за шею, освобождает их, при помощи брата, из капканов, и идет обратно домой с живой ношей, которой так всегда бывают рады ее братишки, для которых забава с песцами — любимое дело.

Случается, что некоторые из молодых песцов так привыкают к людям, что приживаются в хижине, бегают по хате, играют со щенками и даже спят со своими маленькими хозяевами, совсем и не думая о свободе, где и холодно, и голодно в зимнее время. Другие, быть-может, и убежали бы снова на волю, но так страшно боятся собак, что не смеют даже сунуть носа в сени, где обыкновенно помещаются собаки зимою.

Одного из таких любимцев даже показала нам Таня, во время нашего разговора с нею. Она его с трудом разыскала

за печкой, куда он, вероятно, со страху забрался, как только мы появились в хижине. Зверек был так запачкан в пыли и грязи, что его белоснежная шкура и пушистый лисий хвост скорее походили на цвет серого зайца. Он любопытно смотрел на нас карими веселыми глазами, тянулся из рук и, когда мы дали ему кусочек вареной говядины, жадно схватил его и заковылял, сгорбившись по-лисьи, снова за печку, где, вероятно, ему казалось и спокойнее, и теплее.

Мы с восторгом в этот памятный вечер слушали Логаев, торопившихся нам рассказать, как они коротают эту зиму. Эти постоянные охоты, эти поездки на море, в горы, эта домашняя, полная разнообразия, жизнь, этот интерес к окружающим их полярным животным,— все это заставляло посидеть у них подольше и послушать, посмотреть, как они живут совершенно одни на этом берегу залива, где сначала кажется так дико, печально, грустно, а потом так тепло, хорошо от любви ко всему человека.

Но главного, что нам хотелось так услышать,— как убила белого медведя Таня,— нам она все-таки не рассказала. Как только мы коснулись этого важного для нее воспоминания и попросили ее передать нам хотя немного подробностей, она вдруг, вспыхнув румянцем, быстро скользнула в угол и скрылась, как ее песец, за печкой.

Сам хозяин Логай не мог, к сожалению, передать нам всех подробностей этого замечательного события, прославившего на всю Новую Землю маленькую самоедскую охотницу: он был в это время, вместе со своим старшим сыном Иваном, на промысле в море, а дома оставалась одна его жена с Таней и ребятишками. Но наше любопытство все же было удовлетворено рассказом его жены, которая хоть и плохо говорила по-русски, но понять ее все-таки было можно.

Это событие случилось как раз год тому назад.

Так же, как и сейчас, Логаи зимовали тогда в такой же маленькой зимовальной избушке, находящейся, как и теперь, на берегу одного широкого морского залива, но только много южнее, на так называемой Гусиной Земле. Это большая низменность на западном берегу Новой Земли, куда в летнее время прилетает масса гусей, которым нравится тамошнее приволье у озера,—потому-то и прозвали так эту землю.

Как и теперь, зимовальную избушку Логая занесло вровень с крышей, снегом, и только в сторону моря она была свободна от сугробов и смотрела туда одиноким крошечным оконцем.

На ночь, когда бывало холодно, оконце затыкали тряпицей, а днем, для свету, вставляли в него льдинку прозрачную, сквозь которую и проходил слабый свет в хижину, вместо стекла.

Однажды, рано утром, как только забрезжилась заря, Логай с сыном Иваном захватили с собой ружья, лодочку, запрягли собак и уехали на море промыслять тюленей. Дома остались только женщины да ребятишки, да еще с ними две собаки. Ребятишки поели каши, заползли на постели и давай играть со щенками, а мать с Таней занялись чем-то у печки.

Не прошло и часа с тех пор, как уехали охотники, вдруг их ледяное окошечко брякнуло на пол; стало темно в хижине, и к ним в избенку просунулась огромная голова белого медведя... Просунул он голову в их маленькое оконце и молча смотрит на них блестящими глазами. Затем потянул носом, фыркнул и зарычал, словно предчувствуя славную поживу.

Это было так неожиданно, что мать с Таней отскочили в угол, стоят и смотрят на медведя. Так он их перепугал, что даже с места они сдвинуться не могут: „ну, думают, съест“...

Потом в хижине сделался переполох: закричали дети и бросились с постелей; кто — за печку, кто — под нары, кто — к матери; щенята с визгом за ними; собаки залаяли. Даже жена Логая закричала от ужаса, и неизвестно, что было бы, если бы в это время не нашлась наша Таня. Она быстро подскочила к огню, выхватила оттуда железным ковшиком углей и, размахнувшись, бросила их прямо в страшную голову зверя. Тот не ожидал такого нелюбезного приема со стороны хозяек, крякнул и вытащил голову прочь из окошка. Потом слышно было, как он поскребся немного около угла и, не желая больше заглядывать в окно, полез по сугробу на крышу. С потолка только посыпался песок, как медведь зашагал по потолку их маленькой хижины.

Думали, что он продавит его, провалится в избушку, задавит и съест их всех; но, к счастью, он там нашел тюленьи шкуры, стащил их с крыши и начал их грызть, как раз против самых сеней, устроившись со своим обедом. Сунулась, было, жена Логая запереть двери в сени, чтобы он не забрался в хижину, а он тут как тут, у самых дверей гложет шкуры.

Видит Таня, что дело плохо, вытолкнула к медведю пару собак, — может, они его отгонят. Но собаки были плохие, перепугались медведя так, что с визгом удрали на залив, а оттуда — чуть не за версту, и лают на него, зачем он пришел к ним на зимовку. Видит девушка, что на собак надежда плохая, стащила поскорее со стены старое отцовское ружье, зарядила его пулей и решила стре-

лять. А ребяташки вцепились в мать и ревмя-ревут, не дают ей и поворотиться, не то что помочь чем-нибудь Тане.

Но только что Таня завозилась с ружьем, отыскивая пистоны, как медведь снова появился в окошке, еще дальше просунул голову и так и лезет в избушку. Но тут уж в его белую громадную голову полетела целая головешка. Крякнул он, помотал головой перед окошечком и снова полез на крышу. Нашел там опять что-то, снова сполз вниз и ест недалеко от избушки. Высунулась Таня в сени, видит,—нет его там, захлопнула поскорее сенные двери с улицы, и стала смотреть на двор. Видит,—медведь совсем недалеко, гложет тюленьи шкуры и только посматривает на их хижину, как бы туда забраться.

Тут ей ужасно захотелось выстрелить в этого страшного зверя. Просунула она в щель ствол винтовки, прицелилась, прищурилась от страху, выстрелила и живо убежала в избу. Слушают они с матерью, выглядывают в оконце,—ничего не видно. Приотворила Таня двери в сени, выглянула на двор, а медведь как ни в чем не бывало, продолжает есть тюленьи шкуры. Ухватится лапами за один конец шкуры, прижмет к снегу, возьмется зубами за другой, да так и отдирает, а сам все посматривает на избу, нельзя ли туда зайти и чем-нибудь полакомиться вкуснее.

Таня бросилась в избу, опять зарядила пулей винтовку и пошла в сени снова стрелять медведя. А он как раз уж тут стоит перед самыми дверями и даже пробует их отворить своей лапой. Выстрелила скорее она в него в упор, не помня себя, убежала в избу и держит ручку дверей, думая, что медведь гонится за нею. Но, слава богу, в сенях ничего не слышно.

Затихли все. Прислушиваются. Проходит так несколько минут, и зверя как-будто даже не стало. Зарядила Таня в

третий раз винтовку, выглянула в сени,— а медведь лежит у самых дверей уже мертвый.

Долго они не смели подойти к подстреленному зверю. Долго он еще вздрагивал, ворочался, скреб широкими, мохнатыми лапами снег, но, наконец, затих. Только теперь прибежали собаки и, набравшись храбрости, стали лаять на убитого зверя, потом набросились на него и начали его грызть и теревить за уши. Но потом, видно, поняли псы, что с мертвым воевать не стоит,— бросили его и стали подлизывать кровь, которая лилась из раны на снег.

Ребятишки так перепугались белого гостя, что не только выйти, не смели даже выглянуть в сени. А Таня ликовала. Она с гордостью, в сотый раз, обходила кругом зверя, пробовала поднять его мохнатую, широкую лапу, пробовала стащить его с места, так как он как раз лежал у самых дверей; но зверь был так велик и так тяжел, что им и с матерью вместе не удалось его сдвинуть с места.

Сам Логай, когда вечером воротился с сыном, даже глазам не поверил, когда увидал, что белый медведь лежит в сенях, у самых дверей избушки, мертвый.

С этих пор Таня стала настоящей охотницей. Медвежью шкуру продали и купили ей бус, платок, ленточек, в которых она теперь франтила перед нами, а отец ей даже подарил свое старое ружье, из которого она убила этого медведя. С этих пор ее стали часто брать даже в море, где она охотилась не хуже брата, обдирала тюленей, ловко ездила на промысловой лодочке, лихо стреляла и даже соперничала со своим старшим братом в меткости стрельбы.

Но еще раньше в Тане заметна была страсть к охоте. Отец рассказывал, что она, совсем еще маленькой девочкой, уже обнаружила некоторое пристрастие к охоте. Бывало, говорил он, как только станешь налаживать ружье, она уж

тут как тут, сидит рядом, смотрит, как он заряжает или почиливает, и расспрашивает, куда он хочет ехать, далеко ли это, надолго ли уедет, какого зверя привезет, где спят белые медведи и прочее. Ее все интересовало, и, бывало, когда наступит теплое время, вскроется море, прилетят гуси, зашумят с гор ручьи, он никак не может от нее отвязаться и берет ее с собою и везет в санках к морю, садит там ее в лодочку и ездит с нею целый день, стреляя тюленей, гоняясь за водяной птицей, а она или спокойно сидит себе в лодочке, следит за всем своими черными, бойкими глазками и даже дом и мать забудет или спит, убаюканная морем и свежим воздухом.

Таня ездила с отцом и в горы, когда он промышлял там оленей. Она даже не боялась оставаться там одной, когда отцу нужно было, подсмотревши оленей, оставить с ней собак с санками, а самому ползти, подкрадываясь к зверю часами. Однажды, когда Таня так оставалась с собаками, а отец ее ушел стрелять оленей, собаки, увидя последних, не выдержали, бросились от девочки, вырвали у ней вожжечку из рук и убежали в горы, оставив ее совершенно одну. Она и тут не испугалась: залезла на большой камень, набрала камешков, стала ими играть и потом беспечно заснула. Отец ее очень перепугался, когда не нашел на месте ни дочери, ни санок, ни собак. Помчался в горы, и там ее нет. Собаки убежали версты за три, и он их переловил; а Тани все нет. Только вечером нашел он ее спящую на камне и увез поскорее домой.

Когда мы кончили разговоры и собрались домой, моим ямщиком на обратный путь оказалась Таня. Она проворно выправила собак в лямках, взяла длинный шест, крикнула на них. Они вскочили, бросились за первыми санками, она, на бегу, присела на передок, и мы понеслись с ней в сум-

раке ночи, оставляя только снежный вихрь позади наших санок.

Только теперь я мог рассмотреть, какой лихой, живой человек эта девочка; она ловко правила собаками, быстро справлялась с ними на раскатах, и те, чувствуя над собой ее длинный, покачивающийся шест, зная ее руку, летели вперед во весь собачий дух, так что я только держался обеими руками за санки.

И на каждом толчке раската, на каждом нырке сугроба только побрякивали ее медные цепочки, шуршали бусы и развевались по ветру ее ленточки!..

Я не мог налюбоваться на удаль этой девушки, которой, казалось, больше доставляло удовольствия быть в роли мальчика, возиться с ружьем, чем сидеть дома, играть в куклы и забавлять маленьких братьев и сестер и возиться с кухней.

Через какой-нибудь час мы были уже дома, и я подарил моей Тане такой красный платок, какого она сроду не видала на Новой Земле, и была, казалось, в восторге.

Так кончилась эта поездка к Логаю, где я познакомился с этой замечательной маленькой охотницей-самоедкой,

III

Познакомившись с Таней Логай, я часто потом видал ее у нас в колонии, куда она подчас являлась одна-одинешенька, а то с братом или с отцом, за покупками или просто повидаться, поболтать с знакомыми самоедами. У нее теперь были свои санки для разъездов, собаки, которые любили ее, потому что она их хорошо кормила, и все принадлежности охоты. Непременно с ней же, неразлучно, всегда было ружье, которое она привязывала вдоль санок в чехле, с порохом и пулями наготове.

В такие приезды она непременно заходила и к нам. Теперь она уже нас знала и меньше стыдилась. Придет, поклонится нам и станет скромненько у дверей.

— Ну,— спросишь, бывало,— Таня, как расправляешься ты нынче с белыми медведями? Часто ли ходят они к вам в гости?..

Она засмеется.

— Как промышляешь? Много ли тюленей убила, сколько песцов поймала в капканы?

Таня все подробно и обстоятельно расскажет. Пригласишь гостью чаю напиться (дома она редко пила чай, потому что отец не держал его, считая баловством этот напиток), и смотришь, она оживится, расскажет, как, когда они ездили с братом в горы, он промахнулся в оленя, а она убила на бегу его пулей, как их чуть-чуть не оторвало от берега на льдине и чуть, было, не унесло в море, когда они стреляли тюленей на льду, как они видели стадо моржей, белых дельфинов, когда прилетели первые гаги на море, когда слышали голос лебедя... Все это она знала, за всем следила, ей была мила, дорога эта природа полярной страны, где она родилась, ей понятен был ее язык, ее прелести. Она следит за всем, она уже не живет одной жизнью скучного чума — жилища самоеда,— для нее есть другой мир, и она его любит. И странно,— порой эта девочка, четырнадцати лет, совсем еще не развившаяся, почти ребенок, низенькая, худенькая, заставляла нас заслушиваться ее рассказов, так с ней было отратно, весело, приятно.

Самоеды тоже ее любили. Они утверждали, что Таня, действительно, хорошо стреляет.

— У ней твердая рука и счастье на зверя,— говорили они, и в этих словах чувствовалась их гордость за девушку, героиню Новой Земли.

И, действительно, это была правда; она стала настоящей героиней. Не прошло и года с нашей первой встречи, как Тане опять посчастливилось поохотиться на белого медведя, тогда как другим самоедам не удавалось по году даже в глаза видеть этого редкого зверя.

В этот год Логаи зимовали очень далеко от нас, и я видел только один раз Таню. Они жили на берегу одного длинного мыса, выдававшегося в море, верстах в полтораста от нас и нарочно туда уехали еще по весне, чтобы поохотиться на белых медведей, которые, бродя зимой вдоль берегов Новой Земли, особенно любят заходить на выдающиеся мысы острова. У них даже там проложена своя дорога-тропа в зимнее время.

Логаи и теперь промышляли преимущественно тюленей. Но теперь у них не было избушки, потому что выстроить ее было не из чего, и они жили в кожаном оленьем чуму-палатке, в виде конуса, в котором зимовать еще страшнее, чем в маленькой избушке. Так как жилье их было далеко от полыньи, где они охотились, то приходилось складывать убитых тюленей на один мысок залива, который, как крепостная стена, возвышался над заливом, неподалеку от места их промысла. Мыс этот состоял из отвесных скал, куда только с двух сторон можно было подняться с моря по крутым неловким подъемам, словно нарочно высеченным в скале.

Стаскивая туда тюленей, Логаи укладывали их в кучи и были уверены, что медведи сюда не заберутся. Но их надежды оказались напрасными. Как только замерзло море, как только принесло к берегам пловучие льды,— на них приплыли белые их пассажиры. Склад сала у Логаев стал заметно убывать.

Оказалось, что туда ходит не один медведь, а чуть ли не целый десяток. Как только Логаи приедут на мыс утром,

смотрят,—уж десятка тюленей и нет; и найдено и наброшено лапами по снегу. В одном месте видно, что ел сало большой медведь, там — что тащил тюленя маленький, а здесь — остались одни клочки шкуры,—тут была целая компания медведей и богатый ужин. Мало того, что медведи ели запасы,—они еще здесь и забавлялись: поедят, поедят, а потом покатаются с сугробов на спине, поиграют, попрыгают около, а некоторые даже и спать тут улягутся, вырыли себе за ветром ямы в снегу, и видно, что даже отлеживались после сытного обеда.

Незванные гости грозили скоро совсем уничтожить склад промышленников, и Логаи решились их побеспокоить. Но как они ни старались захватить медведей ранним утром, как ни поджидали их поздним вечером,—им никак это не удавалось. Медведи приходили на воровской промысел поздней ночью и уходили тотчас же, как забрезжит заря и со стороны зимовья послышится лай собак и говор человека.

Оставалось одно: караулить их здесь, оставшись тут на ночь. Но решиться на такое дело было трудно: медведь ходил не один, ночь темна, стоит только промахнуться, как зверь уже перед тобой и заносит широкую лапу...

В это же время, как нарочно, занемог сам Логай, и Тане со старшим братом приходилось одним отбивать медведей от склада их промысла.

Долго они придумывали, как им отвадить медведей лакомиться чужим добром; долго они обсуждали, как устроить ловушку, капкан или что-нибудь такое, чем бы можно было хоть их испугать; но ничего у них не выходило.

Поставили они однажды старое заряженное ружье, взвели курок, протянули от него нитку, думая, что как только зверь станет подниматься по спуску, то заденет нитку, курок спустится,—и пуля угодит прямо в зверя. Но оказалось,

что пуля попала в скалу и медведя лишь рассердила.. Таня с братом на другой день нашли от ружья одно только ложе да обломки, а сала ubyло еще больше. Но, на их счастье, наступили тихие, светлые, лунные ночи, и они решились подкараулить, как это ни было страшно, гостей на месте.

Взяли они все свои ружья, зарядили их крупными зарядами и отправились под вечер в засаду.

Ее они сделали себе в снегу над самым тем подъемом, по которому взлезали на скалу медведи и где была уже протоптана целая тропа их широкими медвежьими лапами.

Пока еще догорала румяная заря на темном горизонте моря, золотя пловучие льды, сидеть было весело; но как только наступили сумерки, с моря потянуло холодом и сыростью, пропала из виду зимовка дальняя, сумерки закутали и море, и горы,— охотники остались совсем одни в этом сыром, холодном полумраке, и стало им так жутко среди этой мертвой тишины, в этом одиночестве, что они готовы были уже бежать домой, если бы только это было теперь возможно.

А, между тем, скрип льдов под берегом, треск лопавшегося от мороза камня, шорох сталкивающихся в море льдов, осыпь снега где-нибудь под скалою так волновали их, так тревожили, что им казалось, будто их уже окружили, идут к ним со всех сторон медведи белые, и не видеть им больше ни дома, ни отца с матерью...

Вслушиваясь в эту тишину, вглядываясь в потемневший снег залива, Тане и брату уже ясно казалось, что вот идут по льду медведи, вот остановились, прислушиваются, вот поднимаются в скалу,— и молодые люди, невольно пугая порой друг друга, схватываются за ружья, готовые бороться за жизнь, замирая от волнения.

Но вот позади них, из-за горы, показался отблеск света; еще немного,—и оттуда выкатилась полная луна и облила все таким серебристым светом, что заиграли лучами снега и льды и стало не так-то уж жутко.

Главное — теперь все хорошо видно: и залив под снегом, и горы с снежными вершинами и мрачными скалами, и темная поверхность застывающей полыни, с которой поднимается густой белый пар и тянется к берегу, теряясь в морозном воздухе ночи. Теперь они могут видеть все, им совсем не страшно, только холодно, и они уже продрогли.

Но недолго пришлось нашим охотникам поджидать к себе белых гостей.

Где-то недалеко слышались явственно тяжелые шаги. Всмотрелись Таня с братом во льды залива и увидали, что к ним прямо подвигается медленно что-то огромное, белое... Ясно, что шел медведь, и притом, видимо, старый, большой.

Он один. Он часто останавливается на ходу, взлезает на льдину тороса, встает на дыбы и всматривается вперед, словно чувствуя, что там, в засаде, сидят люди. Затем опять идет. Идет медленно, широко размахивая громадной головой, уверенный, видимо, в своей силе, не боясь никого и ничего на свете. Охотники замерли. Таня говорила, что у нее даже волосы зашевелились от страха, когда он подошел к самой скале, остановился, стал всматриваться, потянул мордой воздух и фыркнул.

Они уже думали, что зверь их заметил и только высматривает... Стоит им шевельнуться, и медведь бросится на них. Но, к счастью, зверь, простояв в раздумьи под скалой с минуту, которая показалась нашим смельчакам вечностью, также медленно и уверенно полез вверх, на скалу, по крутому подъему... Слышно было, как вдруг полетел из-под его лап камень, как посыпался снег. Но только что мед-

ведь поднялся до половины и высунул из-за ближайшего камня свою голову, как мелькнул огонек, другой, раздалось раз-за-раз два выстрела, и что-то, кряхтя, покатилося под скалу и там заворочалось, заворчало...

Таня с братом схватили запасные ружья, взвели курки и, не смея сказать друг другу слова, не зная, что случилось,— убит ли зверь, или надо ждать, что он очнется, бросится на них,— стали чутко прислушиваться в тишине, которую только на миг нарушили слабо треснувшие в морозном воздухе выстрелы из ружей.

Была такая мертвая тишина, что, казалось, будто ничего и не случилось. Только дрожащие руки говорили о том, что произошло что-то страшное, что где-то около бродит, быть может, самая смерть.

Посмотреть на скалу, куда свалился медведь, было невозможно: скала отвесная; ночью как раз сорвешься. Долго они опять сидели с ружьями в руках, с взведенными курками, то посматривая вперед на спуск, то оглядываясь тревожно назад, все еще ожидая, что зверь очнется, подкрадется и бросится на них из-за камня.

Но, вместо него, со стороны темной полосы морской воды слышались еще шаги, и охотники увидали, что к ним направляются новые две белые фигуры.

Вот они подходят ближе, вот можно уже разобрать, что это медведица с годовалым медвежонком. Таня с братом знают, как злы бывают медведицы, и приготавливаются встретить страшную гостью, спешно заряжая ружья.

Медведи идут прямо по следу первого. Они не останавливаются ни на секунду и, вероятно, полагая, что первый уже закусил, торопятся утолить и свой голод. Медведица идет вперед, молодой лениво тянется позади. Но вот он узнает место склада, бросается нетерпеливо вперед

и бежит к подъему. Но тут его нагоняет мать и даёт ему такого шлепка широкой лапой, что он кубарем летит прочь и стонет от боли.

Вот они уж у самой скалы, но их вдруг стало почему-то не слышно. Охотники замерли в ожидании, они едва держат свои ружья. Проходят минуты за минутами, но звери не показываются. Вдруг Тане приходит на мысль, что медведи взошли с другой стороны и, быть может, смотрят на них сзади. Она оглядывается и замирает от страха.

Действительно, перед ними, всего саженьях в десяти, стоит пара медведей и, вытянувшись, в недоумении, не решаясь еще напасть, смотрит на них, как бы приготавливаясь их скушать. У ней опустились даже руки; она видит, как блестят глаза медведицы, она видит, как поднимается у нее на спине шерсть, но у ней нет силы поднять ружья: она застыла от ужаса, от неожиданности.

Гибель, казалось, была неизбежной.

Раздался страшный рев, медведица стала на дыбы, но медвежонок бросился назад под скалу. Тогда мать, неожиданно повернувшись, также скрылась за медвежонком туда, оставив в покое прижавшихся друг к другу несчастных охотников. Потом слышно было, как медведи побежали к морю. Стало совсем тихо. Но Таня долго не могла успокоиться.

Под самое утро еще приходил один молодой медведь, но он их заметил, не решился подняться на скалу и долго, до самого рассвета, бродил около скалы, что-то нюхая и не давая заснуть утомленной, замерзшей и теперь уже равнодушной ко всему охотнице.

Утром охотники нашли под скалой, у самого подъема, наповал убитого старого медведя, обе пули попали ему в грудь, и смерть была моментальная.

Так закончилась эта памятная ночь, о которой Таня что-то не любит вспоминать и особенно рассказывать.

Но этот случай, как можно было бы ожидать, не отбил у девушки страсти к охоте. Она все скоро забыла, страсть взяла верх, и, вплоть до самого моего отъезда с острова (я прожил еще два года), мне часто приходилось слышать, что Таня попрежнему охотится, ездит за оленями, ловит в капканы песцов, стреляет в море моржей, перещеголяла в охоте отца и брата.



ту милую пару белых медвежат мне привезла Таня Логай, маленькая черноглазая самоедка.

Я давно мечтал приобрести себе пару маленьких белых медвежат. У меня в колонии уже жил молодой тюлень в кадочке с соленой водою, постоянно требовавший рыбы жалобными стонами. В комнате, как белый кот, давно уже проживал белый песец,— полярная шустрая лисичка, которая вечно ссорилась по ночам с моим псом из-за места на моей постели. На вышке домика привезенные еще осенью жили сизые голуби, залетающие порой за кормом в комнату; был у меня белобрюхий пингвин, а в стеклянной вазе на столе моего кабинета жила парочка милых леммингов, но до сих пор не было у меня этих пассажиров льдов,— и вот они у меня, и моя коллекция пополнена, и все мы страшно этому рады.

Когда живешь по целым годам на таком пустынном острове, не видя по году свежего человека, почти один, на берегу моря, не получая по десяти месяцев в году письма, поневоле окружаешь себя вместо людей обществом животных, потому что все же они скрашивают жизнь и заменяют собой недостающее общество, не говоря уже о том, как приятно бывает наблюдать их.

И вот это общество не то пленников, не то свободных граждан полярной земли увеличилось милой парой белых медвежат, которых привезла нам молодая девушка.

Не знаю, как это случилось, что мы сразу, как только их пригласили в кухню покормить, прозвали их почему-то „инженерами“. Потому ли, что нам было смешно, как они серьезно стали обнюхивать стены нашего жилища, потому ли, как они потешно, с осторожностью, словно какие эксперты, обошлись с горшком щей, который мы им предложили на первое время, или почему иному,—я не помню; но помню что это прозвище так всем понравилось, так подошло к этой милой паре умных зверьков, что все приняли его, и даже наш „кок“, повар Мишка, взявший их под свое покровительство и, вероятно, никогда и не выдавший настоящих инженеров в своем Поморье, и тот согласился с этим, и когда они с ловкостью очистили горшок щей, он сказал:

— Вот так инженеры, не надо и мыть... Настоящие инженеры!

И наши гости так и пошли с той поры за „инженеров“, даже самоеды и те звали их не иначе, как „инженерами“.

Таня Логай, тринадцатилетняя девушка, привезла нам этих „инженеров“ прямо с Карского моря, где добыли их ее отец и брат.

Старик Логай вечно жил на особицу от всех самоедов и обязательно не только на лето, но и на зиму убирался

куда-нибудь подальше и, как старый песец, устраивал свою снежную нору на каком-нибудь выдающемся мысу в море. Устроится там, окопается кругом снегом и сидит со своими ребятами; а их у него было семь душ.

И оттуда, с возвышенного места, как настоящий песец, и делает набег то на льды моря, то в горы. Выйдет из своей норы, прищурит узкие, хитрые глазки и смотрит кругом, и по мере того, как он все оглядывает, смотрят туда же и его умные псы, с которыми он охотится, и в конце концов, что-нибудь высмотрит, запряжет их — и марш и обязательно что-нибудь притащит ребятам.

Так, вероятно, было и тогда, когда он неделю тому назад, отправился в горы с своими собаками и разыскал там в сугробе снежную дыру, около которой кругом на небольшое расстояние снег был сплошь утопан маленькими мохнатыми ножками белых медвежат, которые выходили из норы порезвиться. Мать их он тут же убил, а за ними слазил в нору, запрягал их в свою просторную пазуху и так и привез домой, к радости и восторгу своих ребятишек.

Но так как кормить их было нечем, то он сам командировал ко мне свою дочь Таню с этими кавалерами, и вот она и явилась ко мне, очень довольная поручением и возможностью напиться у меня чаю.

Она одна проехала более ста верст по Маточкину проливу и ничего, говорит, никого не боялась, потому злых людей тут не водится, а белых медведей она не боится, потому что уже не раз на них охотилась с братом и так стреляет из кремневого ружья, которое привязано ремешками к ободку санок, что даст любому из нас по очку вперед. Она только жалуется, что „инженеры“ не особенно были спокойны в дороге: никак не хотели бежать сами за санками, а когда она их сажала рядом с собой, то они были

очень недовольны тем, что их встряхивало на сугробах, и рывкали, и хватались за ее расшитую сукнами и ленточками малицу, даже костюм ей подрали.

И вот, теперь она у нас в гостях, пьет чай, покрасневшись с дороги, а ее пассажиры бродят по комнате, привлекая поминутно наши взоры то своими широкими, мохнатыми, с черными когтями лапами, которыми они боязливо, осторожно все нащупывают, то своими мордочками с черными, совсем не злыми глазами, которыми они на нас взглядывают, словно спрашивая, что это такое, и где они. Их не стесняет наше шумное общество, а также любопытный песец, который осторожно обнюхивает их сзади: если что им кажется подозрительным, так это присутствие пса-леонбергера, который не особенно приветливо их встретил еще на улице, а здесь в комнате положительно ревнует, особенно, когда мы выставили им горшок щей.

* * *

И вот Таня получает за „инженеров“ бутылку доброго вина, деньги для ее отца, себе за труды — красный платок, разные мелочи для маленьких братьев, в придачу еще мешок крупы в гостинцы своей матери и едет на свою „Карскую сторону“, и наши „инженеры“ остаются у нас и делаются жителями нашей маленькой, одинокой колонии на берегу моря.

Матросы делают для них ледяной домик; наш кок Мишка заказывает самоедам достать тюленьего жира побольше для варева, и „инженеров“ мы садим в ледяной дворец, привязываем на цепи на ночь, чтобы они не отправились на плывучих льдах отыскивать свою молодую хозяйку.

Это необходимо, как говорят наши самоеды, потому, что собаки нашей колонии еще не привыкли к новым жите-

лям и могут их задрать. Но эта предосторожность скоро делается излишней: „инженеры“ так привязываются к нам, что нет смысла их держать и ночью на привязи, днем же они и не думают от нас отходить. Если они удалились немного, то стоит только послать Мишку: он, с ловкостью пластуна, подкрадывается к ним из-за сугроба и так пугнет их вывороченной своей малицей, что они без ума, пофыркивая и порявкивая, бегут поскорее к дому, встают потешно на дыбы и убирают свои черные пяты в сени, окончательно приводя в веселое настроение всю нашу колонию. И Мишка-кок делает это так ловко и с такой любовью, потешая нас этими сценами медвежьего испуга, что „инженеры“ скоро окончательно бросают мысль о дальних прогулках и держатся уж вблизи дома, около наших собак.

Через неделю „инженеры“ — уже обычные жители колонии. Они до тонкости изучили наши привычки: когда я утром, в семь часов, добываю огонь в своем кабинете, надеваю малицу и теплые пимы и выхожу в сени с фонариком в руке, чтобы посмотреть на метеорологические инструменты, „инженеры“ уже ждут меня, жмутся ко мне, что-то рассказывая, и стараются лизнуть руки и загораживают мне путь. Они каждое утро сопровождают меня на метеорологическую будку: когда я залезаю на нее, они следуют с ловкостью акробатов туда же по лестнице; когда я отсчитываю градусники и вожусь с минимальным термометром, они стоят и смотрят, что тут такое; когда я освещаю флюгер, чтобы посмотреть и узнать, откуда и какой силы ветер, они глядят туда же; когда я спускаюсь и иду на лед, чтобы сделать отсчет морской температуры, они сидят со мной рядом у проруби; я иду к почвенным термометрам и вынимаю их из мерзлой почвы, — они присутствуют, как ассистенты, и только тогда уже бегут с радостью вперед, потешно

переваливаясь и перегоняя друг друга, зная, что дело кончено, и я иду в дом и впускаю их в заповедную кухню, где спит их друг кок.

Не пустить их невозможно: они лезут, как только отворишь дверь, под ноги, отдирают двери своими лапами, поднимают рев и стон, если оставишь на улице, и не дадут спать никому. Когда я впускаю их в кухню, они оставляют меня, довольные, и в это время, когда я иду делать записи в метеорологическую книжку, они отправляются исследовать кухню, и слышно, как облизывают наши сковороды, тазы, роняют ухваты и лопаты и гложут кости вчерашнего ужина, уже обглоданные нашим псом.

Но так как всего им хватает не надолго, то они начинают будить своего друга Мишку, который лягается, бранится, посылает их „ко всем чертям“, пока они его не ублажат покорными голосами и облизываниями его голых пят и рук. Он пробуждается и начинает с ними разговоры.

Потом слышно, как он начинает класть дрова в печку и ее растапливать; потом он идет за тюленьим мясом в кладовую, возится с большим чугуном, в котором варит он им каждое утро щи. И во все это время „инженеры“ ведут себя прекрасно: не стонут, не просят, не мурлыкают, терпеливо дожидаясь завтрака, уверенные, что Мишка их не обманет.

Но когда в кухне станет распространяться запах тюленьего кушанья, они начинают обнаруживать некоторую тревогу, и он выпроваживает их в сени, прося обождать, уговаривая их быть терпеливыми, пока он не вынесет им завтрак.

Завтрак „инженеров“ — самое любопытное зрелище нашего утра. К этому времени уже поднимаются даже лени-

вые, и вот голодным „инженерам“ выносят две шайки щей, и мы сходимся смотреть, как они примутся за завтрак.

Заслышав звон опрастываемого чугуна, они поднимают рев и начинают царапать двери, прогоняя всех псов из сеней, и, когда пара матросов выносит им дымящийся завтрак, они уже на дыбах, протягивают свои мохнатые лапы, хватают каждый свою шайку и тянут ее вниз, пока не поставят завтрак перед их мордами, нарочно подальше друг от друга. Но завтрак горяч, так что к нему не подступайся, пар валит до потолка, и „инженеры“ начинают кружиться около шаяк, выглядывая, где плавают куски аппетитного вареного нерпичьего сала. Это сало подрумяненное — первое, что хочется съесть на голодный желудок; но взять его трудно, и нужна особенная ловкость и риск обжечь себе лапу, чтобы выхватить его из шайки. Но голод чего не сделает: они приноравливаются, выглядывают; один момент, ловкое движение лапой, — и кусок подцепляется когтями. „Инженер“ садится и поднимает высоко свою лапу и трясет ею, ревя от боли, и потом начинает ее старательно облизывать черным языком. Кусок съеден. Сало выловлено. И они начинают кружиться около своих шаяк, облизывая осторожно края и зло поглядывая, не приблизится ли какая собака.

Последние никогда не пробуют у них отнимать кушанье, но тем не менее стоит только одной-другой показаться и потянуть носом по направлению к завтракающим „инженерам“, как они с ревом бросаются на них и дают им такого шлепка лапой, что те с визгом ретируются поскорее.

Но этим дело не заканчивается: один из них всегда съедает раньше другого, то тот, кто съел раньше, направляется к шайке другого, и они поднимают такую возню, что все содержимое летит в разные стороны, и они скоро

убеждаются, что шайка пуста, а щи находятся на их шкурах, которые необходимо вычистить, пока они не обмерзли в таком виде.

Это всегда почему-то делается на вершине нашего сугроба, у самых окон кухни, словно нарочно, в благодарность Мишке за завтрак.

„Инженеры“ усаживаются друг против друга и начинают сначала тихонько, потом смелее облизывать друг друга, сначала морды, на которых больше осталось съедобного, потом другие части тела, старательно, с каким-то разговором, мурлыканьем; словно они рассказывают при этом какую историю, в самом лучшем расположении духа, пока эта уборка которому-нибудь не надоест, и они снова не раздерутся, надававши друг другу основательных плюх.

После этого они, как ни в чем не бывало, отправляются мыться на берег моря и там полощутся в воде и ныряют под льдины. Мы каждый раз серьезно заботились о том, чтобы они не унырнули под большую льдину, откуда им уже не выплыть.

Но они знают хорошо свое дело и, выполоскавши таким образом свою белую шкуру, отправляются в свой ледяной дворец и начинают акробатические представления перед нашим кабинетом, с замечательной ловкостью лазя друг за другом сквозь сделанные ими самими для того отверстия в стенах ледяного дома и в его крыше, в которые они быстро, быстро протискивают свои толстые туловища, словно нарочно очищая этим свои блестящие шкуры.

И так целый день с некоторыми перерывами, в которые им приходит на ум или проведать, что делает их друг Мишка в кухне, или захочется поиграть с собаками, которые их боятся.

С собаками они обращались не особенно дружелюбно: как только завидят, что те улеглись кучкой спать в сени, они тотчас же являлись тревожить их, или, сами желая отдохнуть в их компании, ложились не рядом, а обязательно на них и еще, злодеи, не позволяли собакам протестовать, что их так задавили, сердито урча и грозя трепкой... И собаки терпели все, выносили, пока было это возможно, пока вся эта группа отдыхающих зверей не разбегалась при первом удобном случае, и тогда поднималась драка. Тогда повар Мишка выбегал на шум с помелом и гнал всю честную компанию за двери.

Эти наши приятели вечно что-нибудь выдумывали новое для своих забав, как настоящие дети, которым вечно хочется проказить, шалить.

Но что они еще больше того любили, это — ездить с нами на яхточке.

За этим они всегда ревниво следили, и только что мы отправлялись куда и поднимали паруса, как они уже были тут, заползали без спроса на борт, отправлялись в нос судна, и оттуда уже их невозможно было выжить никакими силами, потому что они хватались за снасти. И вот, приходилось с ними плыть на охоту, отправляться в целые экскурсии.

Эту страсть к путешествиям по воде, вероятно, они имели от природы, хотя и не бывали еще на льдах с матерью. И как только мы причаливали ко льдам, они всегда были страшно этим довольны; бросались и бегали по льду, нюхали в нем каждую продушину, которую делает там нерпа, и находили столько дела, удовольствия, купаясь в прозрачной воде, что мы даже позабывали о них на охоте.

Там, на пловучем льду, они были в природной обстановке, и мы побаивались часто давать им подобное удоволь-

ствие, чтобы они не покинули совсем нашу яхту. Это могло случиться легко: стоило бы только показаться белому медведю, и наши „инженеры“ убежали бы к нему, предполагая в нем свою матушку.

Но этого не случилось, а случилось нечто другое, когда мы добыли прекрасную, белую, громадную медведицу. Они были страшно довольны этим и сразу сообразили, что она может им заменить мать, и как только мы показали ее им, уже мертвую, лежащую на льду пролива, смело отправились к ней, чтобы прежде всего полакомиться ее молоком.

Но, не найдя молока, они долго старались ее оживить жалобными стонами и так трогательно лизали ее рану, так трогательно обнюхивали ее и стонали при этом, что нам было от души их жаль.

Однако, потом они преспокойно кушали ее мясо.

* * *

Мне не забыть, как однажды они ездили со мной на яхточке на остановившуюся против нашей колонии норвежскую промысловую яхту.

Это было в тихое, ясное утро, и появившееся судно со своими двумя высокими мачтами, на фоне голубого неба и нашего мыска с белым снегом, так было красиво со своим отражением на зеркальной поверхности воды, что мы собрались целой компанией посетить гостей из Европы.

Мы садимся на яхточку, берем весла, и „инженеры“ уже тут, в носу, и смотрят в прозрачную, зеленоватую воду. Едем тихонько, причаливаем. К нам навстречу выходят русые финны и подают трос, по которому первые забираются на судно „инженеры“. Норвежцы в восторге от этих гостей и за шиворот снимают их с троса и ставят на палубу, к

общему смеху. Потом на борт вылезаем мы, в виде почетного их конвоя, и вот мы в гостях, на широком покатом полу палубы среди куч разных сетей и бочек, окруженные веселыми моряками, которые сосут от удовольствия трубки и смеются над нашими „инженерами“.

Штурман нас приглашает в каюту, медведи за нами,— и нужно было видеть этих гостей в каюте норвежского судна, как они просили у добрых норвежцев сахару и даже не отказывались от трубок и сигар, которые им предлагали brave моряки.

Но скоро они нам надоели, и мы выгнали их на палубу, чтобы заняться деловым разговором. Матросы ушли туда же, и там у них поднялась порядочная возня с нашими „инженерами“.

Они сажали и поднимали их на мачты, заставляли их лазить на самый верх, ходить и бегать по борту, завертывали их в паруса, спускали их в трюм и в кухню и в конце концов сбросили их в море, где я и застал их плавающими, преспокойно ныряющими в прозрачной воде, где они играли, то всплывая на поверхность и барахтаясь лапами, то погружаясь глубоко в воду и почти исчезая там из виду.

Это было прелюбопытное зрелище, и морякам оно так понравилось, что они стали было отбивать их у нас, предлагая за них самый лучший штуцер. Кончилась эта забава тем, что „инженеры“ выбрались из воды, их подняли на борт, и они пресмешно начали скакать по палубе, разбрасывая кругом себя брызги.

Но стоило нам только направиться к яхточке, как они уже снова просились в судно и даже подняли страшный рев, когда мы было их оставили, желая испытать, насколько они к нам привязаны.

Их выдумкам не было конца.

То они заберутся на нашу крышу и катаются на спине и вниз головой, как маленькие дети, то заберутся на обрыв скалы и бросают в море камешки, прислушиваясь, как они падают в воду, то начинают разворачивать каменный морской знак, чтобы разорить там гнездо белого снегиря или снежного жаворонка, то отправляются на мою будку производить наблюдения и ломать градусники, то взбираются на углы нашего дома и выдергивают из его пазов мох, то задирают собак, не желая, чтоб они вечно спали на солнце. В них был громадный избыток молодых сил, и мы видели, как они быстро росли и развивались на счет наших щей из тюленьего мяса, делаясь каждую неделю все больше и сильнее.

Они обнаруживали много ума и сметки: им страшно нравилась музыка, и когда их друг Мишка выходил со своей гармонией и, забираясь на обрыв скалы, разыгрывал излюбленные поморские мотивы, они обязательно были около него, не сводя глаз с его чудного инструмента, который мы не могли выносить в стенах дома. А когда освободился наш боченок из-под керосина и был вынесен весной на улицу, как лишний, они тотчас же приспособили его к музыке, вероятно, заметив, что он гудит при ветре. Но они не стали дожидаться ветра, чтобы слышать гул в пустой бочке, а лупили ее всеми силами по бокам лапами, чтобы боченок гудел, как барабан, и катали его по камням по берегу моря, где он гудел еще лучше, подскакивая по камням.

Но так как этой забавы им хватило ровно на неделю, потому что боченок рассыпался, они воспользовались другим боченком, вытаявшим из-под снега. Но как раз в тот день, когда они хотели приспособить его к музыке, был страшный ветер, и только что они его вытащили из-под

сугроба, провозившись над этим целое утро, и выкатили на берег, как сильный порыв горного ветра умчал его на лед пролива, и он запрыгал по его льдам, страшно стуча, и покатылся в море.

Это страшно удивило „инженеров“, они, вероятно, воображали, что боченок ожил; но потом им стало жаль его, и они бросились было за ним в погоню, но догнать уже не могли.

Но боченок они скоро заменили нашим медным дорожным котлом, и прежде, чем мы его хватились, он был окончательно пробит по всем направлениям, так как эти музыканты бросали его с большого камня у дома на другие камни пониже и потом прислушивались, как он звучал.

В то время, как наши приятели, которых все мы скоро полюбили, шалили так на дворе,—в комнатах, куда мы их изредка впускали, они держали себя замечательно учтиво.

Нужно заметить, что они страшно любили, когда им позволялось к нам заходить, и стоило только сесть у раскрытого окна, как они лезли к нему и случалось, действительно, заползали в него, к неудовольствию особенно повара, у которого на окнах всегда был „базар“ из чашек.

Раз в моем кабинете даже случилась целая история: медведи забрались в окно в то время, когда я спал утром, и мой пес ни за что не хотел их впускать в комнату и так лаял на них, что я думал, что ко мне забрались настоящие звери с моря...

Было не мало хлопот, чтобы выпроводить гостей с подоконников: они ни за что не хотели уходить без угощения, и когда мы их пробовали просто столкнуть за окно, они цеплялись за створки его и грозили оставить нас навсегда без стекол.

Но раз впущенные в комнату они вели себя весьма учтиво, и как бы ни был соблазнителен наш стол с кипящим самоваром и дымящимся завтраком, они вежливо подходили к нему, становились на дыбы и только заглядывались на него, не смея тронуть ничего лапой. И только тогда, когда мы подносили им на блюде кусочек лакомства, они тихонько, осторожно брали черными коготками то, что им было предложено. И нужно было видеть этих уморительных, белых, толстых кургуzych „инженеров“ с умными серьезными мордочками и черными носами, как они стояли на задних лапах перед столом рядом и лизали наши руки, прося еще чего-нибудь послаще. Последнему их научил наш повар, и они, как только врывались в комнату, непременно начинали что-нибудь кланчить, прильнув мордой к ладони.

Наш повар давал им иногда с ладони сахарный песок, и они оказывались до него страшными охотниками,— странная слабость в белом медведе, питающемся исключительно тюленем и рыбой.

* * *

Однажды утром,— была уже настоящая весна, и наш пролив очистился от льда, его несло уже в море,— я вышел делать метеорологические наблюдения и был удивлен тем, что не нашел на своем крыльце „инженеров“. Я искал их у будки, кругом дома,— нет; я посылаю искать повара и матросов к чумам самоедов,— там их не видали; „инженеры“ пропали, „инженеры“ уплыли в море, „инженеров“ след простыл, и где они — неизвестно.

Помню, это было целое событие в нашей колонии. Никто из самоедов не видал их ночью: стало быть, они ушли еще с вечера. Было предположение, что ночью сморя приходил в колонию белый медведь и съел их, как это случалось уже

не раз у самоедов. Но этому нам не хотелось верить, потому что мы не слыхали лая собак, которые бы не пропустили случая разбудить нас и поднять по этому поводу тревогу. Было другое предположение, — что они сорвались с обрыва скалы, упали в море и, разбившись, потонули, но этому тоже как-то не верилось, и мы решили, что они, играя на льду пролива, просто отплыли подальше, воспользовались первой мимо плывущей льдинкой, забрались на нее и в игре незаметно уплыли от колонии в море, а потом уже не посмели пуститься вплавь обратно, потеряв из виду наш берег.

Мы снарядили яхту и отправились искать наших беглецов.

И действительно, в зрительную трубу нашли их на одной пловучей маленькой льдине уже в море, где они в испуге жались друг к другу, уносимые течением и ветром все дальше и дальше от берегов и заливаемые волнами.

Они были в положении погибающих. Выплыть им едва ли удалось бы на берег: льда было мало, и он был почти весь залит разгулявшейся волной, и чем дальше несло их в море, тем волна становилась больше и больше, и их неминуемо снесло бы в воду и захлестнуло бы первой крупной волной.

В каком жалком, испуганном, ужасном виде мы догнали их, и нужно было видеть, как они нам обрадовались и, дрожа еще от страха и стужи, мокрые, старались всеми силами удержаться на качающейся, заливаемой волнением, льдине, чтобы их не смыло до нашего приближения. Бедные, они сидели и держались друг за друга, и когда их окачивало волной, хватались такими боязливymi движениями друг за друга, словно намеревались утонуть вместе.

Мы их, разумеется, постарались как можно скорее выру-

чить из такого положения, и нужно было видеть, как они лизали наши руки, сидя на судне, мокрые и еще дрожащие от сырости и стужи.

С тех пор мы еще больше их полюбили, и они уже не уходили от нас на плавающие льды. Ночью, чтобы не повторилась подобная история, мы снова садили их на цепь, привязывая теперь к нашей метеорологической будке.

Но тут-то и случилось с нами настоящее несчастье.

Мы было уже мечтали отвезти их в Московский зоологический сад, как вдруг ночью наши „инженеры“ заболели.

В ту весну по Новой Земле бегало множество диких бешеных песцов; они каждую ночь прибегали воровски к нашему дому и даже, случалось порой, появлялись днем пробегаючи мимо и поднимая в погоню за собой всю нашу собачью свору. Один песец прибежал ночью, напал на наших „инженеров“, и хотя они отчаянно от него отбивались и даже оборвали ему оба уха, но он успел их похватать за белые мордочки и заразил их своим страшным ядом водобоязни.

Что бы было с ними дальше,—неизвестно, но их спасла одна самоедка, которая, выйдя на улицу, догадалась, кто на них нападает, и убила песца топором.

Но дело было уже сделано: „инженеры“ стали грустны и задумчивы, перестали есть даже жареное сало и стали так жалобно стонать, такими сделались невеселыми, что мы чуть не плакали, глядя на них.

Потом, через несколько дней, они окончательно сошли с ума, перестали узнавать даже кока, и стали грызть все: и цепь, на которой сидели все время, и камни, которые были под ними, и дерево, к которому были привязаны, и даже друг друга, так что их пришлось разъединить.

И было жалко смотреть на этих грязных теперь, страшных, с мутными глазами зверьков, которые ревели от ярости, ломали себе зубы, бренчали, как узники, цепями день и ночь и смотрели на все такими зелеными, мутными глазами, что было страшно подойти. Недели через две они тихо скончались.

Мы хотели их зарыть в скалы, но это было опасно для наших собак, которые могли бы отравиться,— и мы осторожно сняли с них шкурки, чтобы выделать после на память пару чучел. И мы, действительно, их сделали, и теперь они стоят в одном музее за стеклом.



расскажу вам
здесь, читатель, про од-
ну зимнюю бурю, кото-

рая была в последний год моей зи-
мовки на Новой Земле, 7 февраля 1891 года.

I

5 февраля

Эта буря была 7-го числа, но уже пятого, за два дня, мы заметили признаки ее приближения.

Был тихий, морозный, с неподвижным воздухом, день. Термометр на воздухе показывал ровно тридцать градусов холода. Море, открытый пролив (Маточкин Шар) стыли, поднимая густой пар с поверхности замерзающей воды. Эти испарения превращались в иглы, тихо спускались с высоты и, падая, кололи лицо и руки. Выглянувшее не надолго на юге белое солнышко было в таких рукавичках, каких уже давно мы не наблюдали, барометр стоял высоко, но в верх-

них слоях атмосферы было заметно уже сильное движение, и первые показавшиеся вечерние звезды ярко блистали неровным, мерцающим светом.

Едва спустился сумрак полярного дня, как на севере показалась дуга северного сияния. Оно правильной дугой поднялось из-за горизонта моря над темным, почти непрозрачным сегментом, ярко оттенявшим ее. От этой, еще не яркой, слабой дуги позднее встали лучи, ударили к зениту и зажгли новую дугу, которая в виде извивающейся, двигающейся широкой ленты протянулась с востока на запад и там завилась в спираль, образуя коронку.

Мы видели, как и дуга, и лента все более и более разрастаясь, быстро двигались к зениту, росли, отбрасывая в стороны длинные световые лучи. Особенно была красива поразительно подвижная лента. Она плавно колышется, перегибается, скручивается, раскручивается, свертывается, развертывается, загорает и потухает, словно ее завивает какая-то неведомая рука на западе, зажигает ее разноцветными огнями, заставляет волноваться, дрожать, раскидываться, сокращаться, принимать всевозможные формы, какие доступны ленте, кинутой на легкий ветерок.

Затем она погасала, движения делались медленнее, разбивалась, рвалась на куски и таяла в темносинем небосклоне, откуда сквозь нее смотрели на нас звезды, еще ярче блистая на этом очаровательном небе.

В шесть часов вечера дуга уже поднялась высоко, лента приблизилась к зениту и достигла высшей энергии, высшей игры и света.

Теперь она плыла к югу какой-то сплошной огненной рекой, разбрасывая от себя целые столбы лучей, появлявшиеся словно полет ракет на темносинем небосклоне, который уже весь пылал светом, как зарево громадного пожара.

Это было ужасное и вместе с тем приятное зрелище, знакомое только полярному человеку, где оно разыгрывается совсем не так, как у нас на севере, на линии Петербурга, даже Архангельска, над самой головой зрителя.

Это было даже редкостью для меня, для самоедов, наблюдающих по шестидесяти в среднем раз это явление в зиму.

Это было очаровательное явление Новой Земли, когда разом вспыхивал весь небосклон, повсюду появлялись световые облачка, подобно перистым, собирались в тучки, разгорались, сливались в ленты, спирали, коронки, отбрасывали лучи и таяли, медленно таяли, в то время, когда сквозь них гляделись звезды.

Едва успевала растаять, раствориться только что разгоравшаяся на минуту-две одна лента, как впереди, неизвестно из чего, почти неуловимо для глаза, рождалась, показывалась другая, двигаясь все ближе и ближе к зениту, и вспыхивала разноцветными огнями. Они быстро перебегали по ней взад и вперед, начинаясь на западе и снова возвращаясь с востока туда же, переплетаясь между собой, осеняя друг друга мягкими, едва уловимыми глазом от быстроты, цветами, за которыми трудно было следить, которые поражали нежностью цвета, быстротой движения, сменой друг друга, то разгораясь еще больше, то потухая, то скрываясь за что-то, то снова появляясь на секунды во всей своей очаровательной прелести, поразительной для глаза...

Такая игра огней придавала всему северному сиянию большую подвижность: то там, то здесь неожиданно появлялись световые облака, то там, то здесь взлетали ракетами лучи, зажигаясь и погасая на минуту, то там, то здесь завивались коронки, и, казалось, все те слои воздуха, где

горело, колыхалось, тухло и разгоралось это чудное явление, игра природы, колыхались вместе с ним, захватывали нижние слои воздуха. Лента спускалась на тысячи метров ниже, приближалась к поверхности моря, к острову, еще ярче освещала его льды, его горы и, казалось, вот она недалеко, вот она спустится, обожжет этот вспыхивающий под ней снег, коснется нас, и мы прижимались невольно к стене дома. Но морозный воздух не колыхался, свеча горела, не колыхнув пламенем, явление, не достигнув, казалось, каких-нибудь ста сажен земли, таяло, прекращалось, растворялось в тихом воздухе, и лента снова поднималась и начинала погасать, чтобы дать место другой впереди к югу, к зениту.

Все это явление двигалось не прямо к северу, но склонялось заметно к западу, и вся сила его игры шла оттуда, где были коронки, спирали и порою целые огненные шары.

Барометр тронулся и начал падать. Самоеды, эти замечательные метеорологи, говорили, что будет жестокая буря и ветер встанет с запада, где коронки. Океан, спокойный днем, проснулся, и в пролив стала вкатываться тихая, ровная, но крупная волна где-то далеко уже в море разыгравшегося волнения.

Прибрежный лед заплакал жалобными звуками в проливе, у нашего берега зашептался прибой.

Собаки, как заряженные аккумуляторы, бродили беспокойно по берегу, отыскивая, куда бы забраться от бури, ложились на снег, ворча и взвизгивая, катались по нему и бежали в сени, сгорбившись, с поднявшейся на спине и шее шерстью, к которой нельзя было прикоснуться, чтобы не причинить им видимой боли, от которой они при малейшем прикосновении взвизгивали и даже кусались.

Я снял теплую оленью шапку и погладил свои волосы. Мне было неприятно их трогать. Я, казалось, не мог бы их

чесать. Они тоже, как у собак, приподнимались, были грубыми и издавали больше треска, чем обыкновенно.

Северное сияние продолжалось всю ночь и не давало спать. Мы вскакивали с постелей, подбегали к окнам и смотрели на двор, на снежные горы, на простор пролива, где вспыхивал снег, где на минуты показывалась ясно даль, обозначались резко контуры гор, как в летнюю грозу, но с той только разницей, что явление света было медленнее, мягче, ровнее.

Мороз трещал и в горах, и на льду пролива, раздаваясь пушечными глухими выстрелами, когда вдруг лопались камни, когда вдруг раскалывался лед... Нашей крыше тоже досталось не мало; порой там раздавался такой удар, что мы думали, что она развалится.

Мы плохо спали, мы не могли спать, нас что-то волновало, помимо этих неожиданных ударов, зарев, блеска, который проникал в комнаты, который отражался на стенах.

Я выходил несколько раз ночью на улицу и осматривал небо. Оно пылало уже на юге, оно далеко уже перешло зенит и теперь, образовавши ленты, покрывши весь южный небосклон световыми облачками, легкими, прозрачными, почти неподвижными, горело, тихо колыхаясь в воздухе.

6 февраля.

Дневной свет скрыл северное сияние, но оно продолжалось, следуя дальше на юг, и становилось уже невидимым, как это было перед рассветом, когда от него только видны были на юге один отблеск и зарево.

Барометр пошел книзу, но еще ровно, медленно. Температура повысилась, из воздуха повалились ледяные иглы и мелкий снежок. Океан шумел, и в пролив вкатывались

волны все больше и больше. С ближайшего мыска, выдавшегося в море, с ближайших островков доносились визг, шум и треск сталкивающегося льда.

Днем наши промышленники, охотясь на льду пролива, были удивлены необыкновенным наплывом с моря морского зверя. Там неожиданно появились белые дельфины; они стадами зашли в пролив, прошли рядом с нашим берегом, показывая свои белые спины и тяжело дыша; у льдов заиграл веселый гренландский тюлень, который тоже был гостем в такое время у берегов нашего острова; полыньи покрылись нерпами, принеслись откуда-то с простора океана ледяные красивые утки, появились кайры-свистуны, зашныряли под самым нашим берегом черными, едва заметными в зимний рассвет дня точками люрики, и пролив необыкновенно, словно в летнее время, оживился.

Охотники видели, как приплыли с моря две пары белых медведей, вышли на лед и торопливо двинулись в горы. Охотники гнались за одной парой, но было уже поздно, и они побоялись переезжать пролив, чтобы не оставаться во время бури на той его стороне, вдали от зимовки, ночью.

К двенадцати часам дня погода быстро изменилась, барометр пошел быстрее книзу, температура наружного воздуха повысилась, подул южный тихий ветерок, запахло весной, морем, прозрачность воздуха пропала, и над вершинами гор показались подозрительные, темные, знакомые нам уже облачка. Они тихо кружились, округленные, с ободранными краями, маленькие над горами и медленно ползли прямо с юга в нашу сторону.

Море шумело уже крупным волнением.

Мы вышли на двор, осмотрели постройки, дом, метеорологическую будку, заколотили несколько выскочивших

за ночь от смены температуры гвоздей на крыше, прибрали что валялось, наглухо закупорили ставнями окна, приперли двери, закупорили отверстия, уложили под ветер дрова, запаслись на неделю топливом, еще внимательно осмотрев нашу маленькую приютившуюся одиноко колонию между горами, на берегу пролива, стали ждать бури.

Самоеды, на той стороне речки, тоже были заняты приготовлением к буре и прибирались по-штормовому. Они перекинули длинный трос через вершину чума, укрепили концы с подветренной и противоположной стороны и посмеивались, говоря, что так они выживут какую угодно бурю, лишь бы только их не задавило снегом. Собак уже не было видно, они попрятались неизвестно куда и как; некоторые, не рассчитывая на приют в чуму, где было и так тесно, прибежали в наши сени, другие, как говорят, убежали под скалы, где забились в ледяные пещеры и под сугробы снегов.

В два часа закурились горы. На вершинах, в проходах, в развалинах гор заиграл вихорь, сбегал на снежную, еще тихую, долину и промчался по ней на наших глазах, поднимая столб снега, крутя его, рассыпая на стороны, потом сбросился с высокого берега в пролив, обсыпал его снегом, сорвал вершины волн, смял их, раздвинул и, крутя водяную пыль, умчался в море и скрылся в сумраке надвигающегося вечера. За ним стали срываться следом другие, пробегая в ту же сторону; один набежал на нас; забросал пылью, перевернул кругом, сбил с ног, в секунду задушил снежной пылью и так же быстро скрылся, как появился, набежал.

Облачка чаще и чаще стали показываться из-за гор с юга, двинулись низко над нашей долиной, закружились, от них пахнул в долине ветерок, поднял снежную пыль, и она потянулась тонкими струйками, вслед за вихрями,

которые еще больше, еще чаще с минуты на минуту, срывались с гор и будили застоявшийся в ущельях воздух.

На темном небосклоне заблистали звезды, снова показалось северное сияние, но оно, казалось, догорало и, благодаря облачности, уже не было хорошо видно.

Мы пошли в дом.

II

Наступил вечер. Мы добыли огня в комнатах, хотели было заняться обычным делом, чтобы отогнать грустные мысли о буре, которая пугала своей неизвестностью; но заняться чем-нибудь решительно было невозможно: тревога, беспокойство, ожидание чего-то неприятного невольно овладели всеми, и мы стали ожидать, что будет, собравшись в одну комнату.

А, между тем, на дворе творилось что-то невероятное.

Вихри усилились и достигли страшной силы; они набегали теперь на наш бедный, одинокий домик с таким ужасным напором, что его встряхивало, стены и печь вздрагивали, часы звонили, посуда в шкафу брякала, книги высыпались из библиотеки. Ветер пробивался в пазы, свистал в углах, стонал в окнах, выл в трубе и перебегал по комнате, качая лампаду, свет от которой широко разбрасывался по стенам вместе с тенями.

Порой мы не могли слышать друг друга, порой мы вдруг останавливались, недоумевая, что случилось, так как вдруг от напора ветра дом словно приподнимало, слышался шум за стеной, и в комнату со всех сторон: с полу, с потолка, со стен, к нам врывался ветер, колебал пламя, шевелил картинами, приводил в движение двери, и, казалось, что к нам кто-то ворвался в комнату, зашел со двора.

В такие моменты даже мой пес леонбергер вскакивал из-под стола, кидался к дверям и заливался громким оглушительным лаем, на который из сеней отвечал целый хор собачьих голосов, которые разражались общим лаем. Но проходила минута — и снова стихало, наступало затишье и слышно было, как под напором легкого ветра на крыше нашего дома пела стройным аккордом эолова арфа. Но это были только минуты: аккорд ее вдруг принимал порывистые звуки, она взвизгивала, захлебывалась, и новый вихрь свистал, пел, выл кругом нашего убежища и обсыпал снегом стены; слышно было, как стучали доски крыши, отбивая бешеную дробь, и снова стихало на минуту, на две...

Но ужаснее всего были те вихри, которые приносили вместе с тучей снега песок, щебень и камни. Как картечью, дробью, пулями, обдавало тогда стены, крышу, барабанило в ставни и, хватив в секунду таким снарядом, как шрапнелью, по дому, оставляло его снова в покое.

И чем дольше были минуты тишины, тем больнее сжималось сердце, предчувствуя еще неизвестный страшный удар вихря.

Это самое опасное время бури, сила таких вихрей неимоверна; мне ни разу не удавалось никакими усовершенствованными анемометрами определить давление ветра: все срывало с крыши моментально или вырывало из рук, сбрасывая и самого в сторону, как щепку.

Я видел однажды летом, как такие вихри рвали крышу нашего магазина, доски которой, как перышки, поднимались на воздух, кружились, вибрируя концами, и падали в нескольких стах саженях на поверхность бухты. Я видел однажды в такую бурю, как плясали под нашими окнами толстые березовые дрова, пока в этой невообразимой пляске они не выскакивали за пределы подветренной стороны,

после чего их мигом подхватывало и уносило неизвестно куда в море. Я видел однажды пустую бочку из-под самоедской ворвани, которая каким-то образом была выбита из подветренной стороны, летала вдоль наших стен, наводя ужас своими ударами и звуком, и как потом, подхваченная вихрем, взлетала на воздух, сделала дугу и, попавши на лед залива, скакала по нем целые версты, пока не попала в море.

И, слушая эту бурю, нам приходилось не раз задуматься насчет нашего дома.

Он был только что в прошлое лето построен в Архангельске, перевезен на пароходе сюда и поставлен на берегу пролива. Он был сделан из прекрасного сухого леса, тяжесть толстых бревен которого я испытал сам, перенося почти каждое бревно с матросами с берега на своем плече. Его не могли разрушить никакие ветры, но нас тревожила его крыша, потому что на Новой Земле сносило и не такие маленькие крыши, как наша, и сбрасывало их одним бешеным порывом в море. Мы слышали, как она, плотно сколоченная, начинала расшатываться, мы слышали, как отдирались, постукивая, отбивая дробь, ее доски, и только ждали того момента, когда страшный вихрь поднимет ее со стропилами и бросит на волю ветра...

Перспектива остаться без крыши, изуродовать красивый домик нашей колонии нас печалила больше всего, и мы, чтобы успокоить расстроенное воображение относительно непрочности крыши нашего дома, решились сделать вылазку. Кстати, хотелось посмотреть и то, что творится на дворе, так как мы не слышали и десятой части того, что там шумело, свистело, выло и брякало.

Мы оделись в теплые малицы, вышли в сени и сразу почувствовали, что буря принимает грандиозные размеры.

Говорить уже было от шума невозможно, особенно, когда набегал вихрь, в воздухе стояла снежная пыль.

Пользуясь минутным затишьем, мы отворили наружные двери, вышли на заветренную сторону и прижались к стене дома.

Ожидать вихря пришлось недолго. Он налетел, затряс дом, обдал нас пылью, прошумел по крыше, просвистал в углах, толкнул нас, словно после пушечного выстрела, к стене и мигом скрылся, оглушив, запорошив лицо так, что нужно было очнуться.

Мы огляделись кругом. Низко над долиной ползли быстро темные, кучевые облака. Они темной непроницаемой стеной плыли навстречу с юга; ветер был оттуда, но расположение наших гор его изменяло и усиливало, потому что ему нужно было вырваться из-под этих толстых, черных, быстродвигающихся облаков, пробраться в долины гор, которые тоже его сдерживали, и только после того, как там его заряд, напор воздуха, принимал силу, он прорывался сквозь ущелья, срывал с них щебень, камни, снег и падал на нашу долину прямо, почти отвесно.

В минуты затишья было слышно, как шумело море. В проливе гуляли волны.

Сквозь облака на севере проглядывало местами северное сияние, благодаря которому было лучше видно окружающее. Оно казалось меньше вчерашнего; но звезды блистали ярко, и движение их лучей свидетельствовало, что высшие слои атмосферы над нами были так же взволнованы, как и нижние.

В один из промежутков вихрей мы заметили, как в сторону ближайшей горы, над самым нашим домом низко пронеслось, свистя крыльями, стадо какой-то птицы. Я видел как бы тень их полета. Что за птицы, было трудно объяснить. Кайры-свистуны, которые зимуют на острове,

теперь летать не могли: они далеко забиваются в бурю в каменные норы морских скал.

Забросанные снежной пылью с ног до головы, мы возвратились домой с спокойным убеждением, что буря хотя и велика, порывы страшны, но они кажутся страшнее из комнаты, чем есть на самом деле, на дворе, хотя там тоже оставаться было бы рискованно.

Барометр падал быстро и теперь уже показывал 722. Он шел книзу неровно, скачками, то увеличивая быстроту падения, то уменьшая; ртуть волновалась. Температура быстро повышалась, мороз сменился оттепелью, и мы ждали, что нас обрызнет дождем. Это не редкость: в бури на Новой Земле, даже среди зимы и после сильных холодов, дождь — явление почти обыкновенное.

Вихри, усиливаясь и усиливаясь, наконец, дошли до такой быстроты, следуя друг за другом, что их было уже нельзя различать; в долину, казалось, проник настоящий южный ветер, смешал все, парализовал другие течения воздуха, и порывы сменились какой-то общей кутерьмой, общим воем, свистом со всех сторон, словно мы сами кружились с домом в вихре. Затем период вихрей, видимо, прошел, и наступила пурга, та самая пурга, тот хаос, в котором нельзя разобратся: откуда дует ветер, откуда движется буря, что делается кругом, так как и поверхность земли и небо покрылись тучами снега, который кружась, падая, обсыпая, забрасывая дом, смягчал общий шум, и из комнаты становилось слышно, что как будто буря стала стихать, когда она только что началась во всем своем ужасе.

В девять часов мне нужно было выйти на двор и сделать метеорологический отчет на будке. Она была в десяти всего саженьях от дома, и к ней была надежда пробраться, хотя ползком, по протянутому от дома тросу.

Я оделся в теплую малицу, крепко надвинул пришитую к ней оленью шапку, крепко подпоясался, прицепил на грудь специальный фонарик, и мы вышли, в сопровождении матросов, обязанность которых была светить мне из сеней.

Сени были полны пушистого снега, он клочьями висел по стенам, на потолке, всюду, и стоило только открыть двери, как он посыпался на нас и покрыл всю одежду белым покровом. Собаки спали уже под ним, сбившись в кучу в один угол.

Мы отпираем двери на улицу. Там темно, как в осеннюю ночь, в воздухе носится снег, целые хлопья снега, чувствуется — совсем тепло, сыро, снег прилипает к ноге, в двери тотчас же бросился вихорек, бросил нам горсть снега в лицо и скрылся.

Я, крадучись из-за ветра, который переменялся и отошел к западу, пробираюсь к тросу и, набравшись храбрости, бросаюсь к метеорологической будке, в существовании которой, однако, еще сомневаюсь. Но я, помню, сделал только один шаг, как меня мягко толкнуло ветром, приподняло над землей и бросило в сторону... Я не помню, как я летел, сколько раз перевернулся, — это было мгновением, — и я опомнился только тогда, когда лежал пластом на снегу, судорожно уцепившись за выступы вырытого ветром, твердого, как земля, снега... Надо было отдышаться; я лежу, прижатый и подбрасываемый, на одном месте, мне кажется, что меня тянет куда-то, словно волнением, водой. Я слышу грохот прибоя под берегом, я чувствую, как меня забрызгивает каплями соленой морской воды.

Мысль, что я у берега, у обрыва, мысль, что меня сейчас сорвет с этого снега и сбросит в воду, мысль, что я на краю пропасти, придает мне страшную силу, и я, не имея возможности вздохнуть, отдышаться, осмотреться, так как

меня задушило снегом, ветром, которым дерет мои волосы на голове, которым сечет мои голые руки, ползу, стону, барахтаюсь, как утопающий, и отползаю на несколько шагов в сторону. Я боюсь встать на колени, приподняться, я знаю, что в таком положении мне не выдержать напора ветра и меня снова унесет, и я ползу дальше. Я не знаю, где дом, света не видно, в воздухе темно, арфы не слышно, хотя она и поставлена для таких случаев, чтобы ориентироваться. Я бросаюсь из стороны в сторону, я щупаю снег, чтобы узнать по нему присутствие дома, я хочу вскрикнуть, но не могу... Я решаюсь зарыться в снег, если поиски не приведут ни к чему, я решаюсь подождать, когда меня будут искать, подадут выстрел ружья, револьвера, мне приходят сразу на ум все способы спасения, я считаю минуты... я уже измучился, я весь мокрый, снег проник ко мне в одежду, набился всюду, тает, как вдруг, на секунду затишья, я вижу, прямо перед собой, в какой-нибудь сажени, стену моего дома. Я бросаюсь к ней, схватываю знакомые, родные бревна, прижимаюсь к ним и чувствую, что силы меня оставляют. Я слышу: меня кричат, но я не в силах ответить; через минуту иду к сениям, но навстречу мне чуть не в упор раздается ружейный залп, меня обдаёт дымом, и я в ужасе кричу, что меня застрелят. Я вхожу в комнату и сажусь, утомленный, без сил, не говоря ни слова, на постель.

Мне кажется, что все это было во сне, когда-то давно, что это не действительность, сон, тяжелый кошмар... Через полчаса, после теплого чаю с коньяком, я снова чувствую себя хорошо и от души смеюсь вместе со всеми, вспоминая только что полученную встрепку от бури...

Метеорологические наблюдения просрочены, мы делаем отчет по комнатным и ручным инструментам, и я описываю бурю и все ее подробности в дневнике. Он бывает раскрыт

в такие дни и всегда на столе, чтобы можно было в него занести все подробности тотчас же, не откладывая.

Проходит часа два, барометр падает еще на несколько миллиметров; теперь он показывает только 716,8, что бывает весьма редко и едва ли наблюдалось более трех-четырех раз за все четыре года на этом острове моими метеорологическими станциями.

С переменой ветра на запад волнение в проливе усилилось, широкое устье его открыто к западу, в него теперь вваливаются с океана волны и, расходясь по проливу, бьют и в наш низменный берег. Это хорошо слышно. Это теперь заглушает и вой, и свист, и шипение разъяренной стихии.

К полуночи волна разгулялась так, что задрожал берег, начал вздрагивать дом, и самая буря, при этих залпах ударявшей волны, казалось, стихала на минуту. Это нас еще больше встревожило, чем самая буря, к которой мы уже стали привыкать.

Дело в том, что на берегу находился весь наш наличный годовой запас бревен, которые мы превращали в дрова, выходя пилить каждый день для моциона. Кроме них, там же лежала, еще с осени занесенная в сугробе снегом, наша дубовая морская шлюпка.

То и другое нам дорого и необходимо; остаться без дров в холодную зиму было еще страшнее, чем остаться без лодки, на которой мы делали экскурсии и в проливе, и выходя в море.

Приходилось спасать, приходилось делать еще третью вылазку.

Опять совет, как это сделать, опять надеты специальные костюмы, опять мы вышли в сени и отворяем наружную дверь.

Но только что мы отворили наружную дверь, как нас обдало брызгами соленой, холодной воды и у наших ног зашуршала вода, врываясь пенистым валом прямо в двери. Это было уже неожиданностью, это уже превышало все наши предположения относительно бури...

Вслед затем раздался оглушительный звук прибоя, и сквозь тьму бури, ночи мы увидали, как перед нами, на берегу, встал высоко светящийся столб воды и, вслед затем, к нам покатилаь опять волна с пеной, светясь фосфорическим светом.

Что там творится теперь на берегу, всего в двадцати саженях от нашего крыльца, было трудно узнать; мы слышали только один за другим удары в берег, мы видели, как светится, подходя, вал, мы видели, как катится к нам отплеск его и летят брызги соленой, пахнувшей водорослями воды.

Пользуясь периодом затишья, мы вышли на крыльцо, нам хотелось хотя узнать, погибло ли наше имущество.

Но новый сюрприз. В снегу была вода, нога уходила по колено, снег смочен, мы тонем в нем, мы не знаем еще откуда вода, и только открываем тогда ее причину, когда маленькое случайное затишье позволяет нам оглядеться.

Оказывается, мы почти окружены водой, вал с пролива вливается в нашу речку. Все маленькое озеро уже покрыто водой, ее видно, она темнеет; вероятно, также покрыта и вся долина вплоть до горы, где стоит наш дом на самой возвышенной точке. Но эта точка не велика, чтобы не опасаться, чтобы к нам не заливалась волна на самое крыльцо.

Наш приятель-самоед в ужасе: его семья осталась на том берегу, ему нельзя теперь и думать попасть туда через разлившуюся речку, а между тем там, быть может, уж

снесло чум, мерзнут его дети и их так же, как теперь нас, заливают океанской чудовищной волной.

Отчаянное положение придает храбрости, мы решаемся хотя одним глазом взглянуть, что делается на берегу, где так грохочет волна, гремят подобно пушечным выстрелам один за другим прибой.

Мы беремся рука за руку, связываемся веревкой и медленно, вереницей, подвигаемся к берегу, без сожаления всовывая ноги в мокрый, водянистый снег по самые колени. Это нам даже помогает, это придает нам устойчивость, и мы, обливаемые сверху дождем, брызгами, оглушаемые все более и более ударами прибоя, двигаемся и доходим почти до самого берега, где перед нами встает теперь стена воды, громоздится сердитый, темный, едва видимый, вал, от удара которого трясется под ногами берег.

Вершина вала вся в фосфорическом блеске, стена взбрасываемой воды тоже светится им, вставая на две, на три сажени. То-то чудное зрелище, если бы нас не рвало постоянно ветром, если бы нас не поливало сверху брызгами и пеной.

Стены, двери, окна дома — все, что было обращено к проливу, было забрызгано водой, она замерзла, и дом казался каким-то ледяным замком.

Под утро стало стихать, но зато волны били еще сильнее.

Утомленные пережитым, мы, сидя, засыпаем на месте пробуждаясь только тогда, когда удар в берег раздастся с такой силой, что кажется, что бьет уже волна в стену...

Барометр остановился.

В шесть часов я еще выходил на двор. Погода была тише, вихри перестали окончательно, сделалось светлее, и я мог осмотреть небосклон.

С юго-запада низко тащились темные, кучевые облака, они целыми грядами повисли над нами, то кружась, то как будто оставаясь неподвижными.

Еще темнее был пролив, горы тоже стали темными, с них вынесло весь снег, который держался между камнями, и при этой общей темноте рассвет дня был зловещим.

Северного сияния было уже не видно, там, в верхних слоях воздуха, буря уже кончилась.

Опять какое-то стадо темной птицы, неуловимым для глаза пятном, пронеслось вблизи нашего дома, свистя крыльями. В горах еще шумело, как бы вторя, откликаясь гулу океана.

III

10 часов утра 7 февраля.

Светло, эолова арфа еще поет и захлебывается на крыше, буря перешла в ровный, но сильный, упорный ветер с юго-запада. Снег вымело весь и больше не несет. Тот, который остался еще на поверхности земли, лежит взрытый в виде волн, твердый, как камень, вылощенный ветром и блестящий.

Я выхожу на двор и останавливаюсь перед необыкновенной открывшейся картиной.

Мой дом превратился в ледяной, стены, двери, окна, крышу, даже эолову арфу на крыше, даже флагшток, все покрыло льдом море, и все блестит на солнце, которое только что поднялось из-за долины и смотрит на нас, белое, нерадостное, обещающая стужу. Обычная картина нашей колонии совсем изменилась. Снег изрыт, сугробы скрыты, все обледенело, все обрызгано каплями морской воды, речка, долина полны замерзающей уже воды, которая вышла из берегов и застыла в виде наледи. Горы стали совсем чер-

ными, как летом, долина стала пестрой, ветер все содрал, что мог и унес, бросил в море. Оно еще бьет попрежнему в наш берег, сделавшийся похожим на крепостной вал, бруствер, с вымытыми волнением траншеями. На всем пространстве нашего берега, слишком на триста сажен, образовался высокий ледяной вал, он стеной стоит на берегу, встречая каждую волну моря. Мы видим, как вздувается на проливе волна, бесшумно катится на берег, синяя, с полосками пены, потом превращается в грозный вал, бежит по сухому, отлогому песчаному берегу, нагибается над ним красивым каскадом, сбрасывает свою вершину на гладкую поверхность песка, шумит и с громом налетает на ледяную стену. Раздается пушечный удар, стонет берег, встает из брызг целая стена, падает, и волна откатывается, шипя, с пеной по гладкому убитому песку в пролив, навстречу другому валу, уже поднявшемуся над берегом, встает еще выше, бежит еще быстрее и бросается на тот же ледяной вал, чтобы снова грохнуться и поднять столбы фонтанов.

И так как берег бухты полукруглый, то мы видим, как вал взлетает на воздух вправо, слышим, как там начались удары, потом — стена фонтанов быстро летит в нашу сторону, пролетает мимо и, в одну минуту, мы видим, как на всем этом пространстве поднимаются фонтаны, слышим, как грохочут удары, видим, как набрасывается громадный вал на берег, встает водяная, взброшенная сажени на три, стена и падает на ледяной вал, на берег и откатывается к проливу.

Этим напором воды изрыло местами берег, обнажило камень, образовало лужи, где плавали морские водоросли, лежали раковины и плавала убитая рыба; по этим промоинам было можно в отлив волны спуститься, сбежать к бе-

регу, ступить на чистый, убитый волной песок, но только на минуту,—волна налетала, выскакивала далеко на берег и выносила туда новые водоросли, убитую рыбу, раковины, все, что попадалось ей.

С востока ползли над вершинами гор черные облака. Они ползли на ветер, и ветер усиливался тогда, когда они проходили над нашей долиной.

По проливу с моря катились сердитые белые волны.

Барометр поднимался быстро и становился холоднее.

В два часа ветер стал стихать, волнение тоже, и в пролив двинулся с моря с страшным шумом и невероятной быстротой лед, ледяное поле.

Я пошел на ближайший мысок, который выходил в море.

Зрелище было настолько поразительное, что я оставался там вплоть до самого вечера.

Это зрелище было похоже на только что двинувшийся лед по громадной реке. Мне был хорошо виден пролив на тридцать верст в длину и семь в ширину, и вот на всем этом пространстве теперь быстро неся лед.

Движению льда, казалось, не было конца, все видимое пространство моря было покрыто неизвестно откуда принесенным бурей громадным ледяным полем, на сотню верст раскинувшимся в длину. Это поле стремилось теперь к берегам. Напор этого ледяного поля был страшный: казалось, он снесет берега, разрушит скалы, сотрет мели и вылетит весь на берег.

Под обрывом берега, на котором я стоял, любясь и дрожа от этой невероятной картины, творилось что-то ужасное.

Лед налетал на каменистые гряды, вставал ребром, ломался, с шумом падал, на него взгромождались другие льдины, в минуту-две вырастал ледяной торос в пять-

семь сажен вышины, и все это, нагроможденное до-нельзя, вдруг с шумом рассыпалось и уходило под синие волны пролива, который поглощал эту гору, расступаясь, чтобы снова на том же месте начать образовывать новое, еще причудливее, еще выше, ледяное здание, гору...

Я видел, как лед рвал берег, как лез на его скалы и уносил его на себе дальше, в пролив, как щепочку.

Море, пролив шумели самыми разнообразными звуками сталкивающегося льда.

Местами, благодаря положению громадных, еще не измятых волнением льдин, образовались полыньи. На них немедленно появлялись китообразные туловища белых дельфинов, показывались черными точками головы тюленей, и все это, перепуганное, загнанное, вылетало на поверхность льда, не зная, что случилось, не зная, куда спастись, где скрыться...

Зайдя в пролив, заливы, набившись густо в тихие бухты перед бурей, теперь этот зверь решительно не знал, куда броситься, как пробиться до открытого моря, где единственно ему еще была возможность спастись.

И вот, найдя просвет во льду, отдушину, они бросались к ней, выскакивали на поверхность, выкидывали фонтаны воды, до того момента, когда образовавшая полынью льдина, не выдержав давления ледяного поля, лопалась и покрывала собой маленькое пространство воды и скрывала под собой всю эту массу раздавленного зверя. Лед окрашивался на минуту кровью, кровавое пятно двигалось в пролив, потом смывалось водой и загромождалось новыми льдинами.

Я видел, как на ближайший подводный камень вместе со льдом выбросило белую тушу дельфина, перевернуло ее вниз головой, засыпало в минуту льдом, нагромозило

на нее гору, и она потонула через минуту вместе с своей раздавленной жертвой.

Когда заполнился пролив, когда уже некуда было двигаться больше льду, а с моря все еще напирало, лед раздался и пошел наполнять все боковые бухты, все устья замерзших речек.

Тогда он двинулся в нашу бухту.

Там, на чистой поверхности воды, запертые льдом с моря, искали спасения тысячи морских зверей; там были нерпы; тюлени всех сортов, белые дельфины, рыба, птица, и все это металось теперь из стороны в сторону голодное, словно в садке.

Когда двинулся в бухту лед, все это еще больше всполошилось: тюлень бросился было спастись на берег, но самоеды встретили его залпами ружей; птица поднялась и полетела искать другого места и убежища; зверя стало нажимать льдом, с берега неслись выстрелы, и он в ужасе бросался в массу надвигающегося льда, чтобы пробить себе путь к морю.

Другие из них хотели спастись на льду, но он не выдерживал их тяжести, и они тонули в нем и застывали на наших глазах, прижатые к берегу, вместе с рыбой, водорослями, раковинами, всем, что лед поднял с глубины нашей бухты.

Наконец, лед уперся в берег бухты, в скалы берега, нагромоздился перед нашим домом в виде вала, образовал сотню ледяных торосов, наполнил все и остановился. Пролив, бухта, ближайшее море,—все замерло, шум затих, волна перестала биться о берег, и картина вдруг изменилась, и все приняло вид обыкновенной зимы, словно ничего не было, и ветерок, начиная совсем стихать, стал заносить все свежим снегом, который повалился тихо из темных,

нависших неподвижно облаков, словно стараясь поскорее скрыть от глаз следы ужасной своей работы, похоронившей миллионы животных, птиц и рыб.

Вечером барометр поднялся снова высоко, небо прочистилось, выглянули звезды, вспыхнуло северное сияние и, смотря на пролив, на заснувшее море, откуда даже не доносился шум волны, на горы и долину, казалось, что все по-старому, что все, что было за эти ужасные дни, был сон, мираж...

* * *

На другой день было совсем тихо. Пролив моря спал под неровным снежным покровом, как в обыкновенное время, лед смерзся за ночь и, казалось, не двинется до теплого лета, настолько стал толст и неподвижен.

Я пошел посмотреть пролив с того мыска, на котором я любовался вчера на движение льда с моря.

Лед был прикрыт уже снегом, ледяные торосы приняли формы гор, вдали на льду чернели самоеды, которые, вооружившись палками вместо ружей, выстроившись в ряд, подвигались навстречу ползущим тюленям из глубины пролива, которых они, замахиваясь, били по голове, как косцы на ледяном поле.

За проливом в зрительную трубу я рассмотрел несколько белых медведей; они желтыми точками бродили по белой скатерти снегов, отыскивая тоже тюленей. Туда же на лед бежали и вечно голодные песцы за этой добычей.

Я иду по смерзшему льду пролива, прикрытому вчерашним снегом, местами видна водоросль, местами видны камни, сорванные вчера со скал, поднятые со дна пролива, и вдруг отскакиваю в сторону, так как наступил на что-то живое, скользкое. Смотрю — это нерпа. Она была уже

занесена вся снегом, лежала под льдинкой и теперь смотрела на меня, замерзшая, с ободранной в кровь грудью, вся скорчившись, жалкая, и я пожалел, что ее побеспокоил, когда она, быть может, уже умирала, засыпая под холодным ветром, прикрытая белым пушистым снегом.

Через несколько шагов я нагоняю другую, пересекая кровавый след, который она оставляет на льду. Мне хочется ее посмотреть, я забегая вперед и вдруг становлюсь перед нею и замахиваюсь на нее, чтобы она на меня не бросилась, чтобы она сстановилась. Она с криком отбрасывается в сторону, прижимается в ужасе к льдине, втягивает голову, словно ожидая удара в толстую жирную шею, и смотрит мне прямо в глаза своими черными, светлыми глазами... я сажусь перед ней и смотрю на нее. Мне хочется ее унести к дому, спустить в какую-нибудь полынью, но это напрасно. Я вижу, как обледенели ее катры, я вижу, как ободрана ее грудь, все брюшко, на котором она ползла, быть может, десять верст, я вижу, как-у ней изорваны в кровь катры, которыми она движется. Какая она жалкая, убитая, как она покорно ждет смерти... И я бросаюсь от нее прочь, не оборачиваясь, не оглядываясь.

Я возвращаюсь на берег, долго брожу по нему, подбирая выброшенную рыбу, водоросли, раковины для коллекций, и вижу, как тут же, вдоль берега, не особенно стесняясь меня, бегают белые плутоватые песцы, подбирая то, что море и буря послали им в подарок за долгие зимние голодные дни.

Тут же сидят и белые совы, слетевшиеся к берегу с острова на тризну морских животных.

Затем я пошел к ближайшему склону горы, которая в эту бурю совсем оголилась от снега и приняла вид такой же, как в летнее время.

Мне хотелось там, в россыпях камней, в склонах горы, посмотреть, как дозрели под снегом засыпанные им рано осенью растения, собрать их семена, взглянуть, как устроилась там песцовая мышь, и полюбоваться растениями, которые порой прекрасно сохраняются под снегом со всеми признаками зелени и цветов даже зимою.

Но меня там ожидало другое.

Под обрывом скалы, на склоне горы, на оставшемся сугробе снега, лежало до сотни трупов замерзших птиц. Это были по преимуществу чистики, которые в летнее время десятками тысяч населяют прибрежные скалы этого острова и улетают на зимнее время на юг, где открыто море,— к берегам Норвегии и Ирландии. Откуда они появились в бурю у берегов полярного, далеко от мест их зимовки, острова, когда обыкновенный их прилет никогда не бывает раньше первых чисел апреля, можно было объяснить только той же бурей.

Она сорвала их там с поверхности моря, с высоких скал, с тех островов, где они проводят зиму, хотя эти острова были не меньше, как за тысячу миль от Новой Земли, и принесла их сюда вместе с собой, так как они с своими пингвиновыми маленькими крылышками не могли бороться против ветра. Здесь они на первое время бури, быть может, укрылись в проливе, заливах, бухтах, но сбитые бурей, не имея сил держаться на воде, вероятно, снялись и полетели разыскивать новое место и, приняв чернеющие скалы гор за полыньи моря, с размаху налетели на них и, разбившись, попадали мертвыми на снежные сугробы. Это было видно по изуродованным формам тела, растрепанным перьям и ранам.

Другие же, оставшись при столкновении живыми, не имея сил подняться в затишье при помощи маленьких кры-

лышек, искали спасения в щелях камней, где застыли от холода.

Между ними я нашел пару ледяных уток, несколько приставших гаг и одного миниатюрного жителя земли Франца-Иосифа, милого гостя Новой Земли, люрика, прилетевшего сюда, где все же посветлее, чем там, под самым полюсом, в полярные ночи.

Вечером возвратились, все в крови с ног до головы, пахнувшие кровью, забрызганные мозгом тюленей, наши самоеды-промышленники. Они были по-своему даже счастливы: они избили за этот день до восьмисот тюленей. Они ходили их бить и на другой день и тоже избили такое количество.

Даже маленькие подростки и те ходили на льды бить тюленей; но море на другой день подняло волны, они расшатали лед, тронули с места, а горный ветерок оторвал его от берегов и вынес в море.

Тюлень снова юркнул в воду, дельфин вышел на простор океана, зимующая птица засвистала, запела на открытой воде, и на третий день у нашего берега зашепталась снова тихая волна.



Когда мне бывало скучно на Новой Земле, когда меня угнетало одиночество, я отправлялся поскорее на тихий ближайший остров, чтобы рассеять свое грустное настроение среди веселого говора птиц и их своеобразной, шумной жизни.

Этот остров был недалеко от моей колонии, и когда с моря дул легкий ветер, когда тихо было на нашем полярном острове, до нас часто доносились издали голоса птиц, и казалось тогда, что это галдит, шумит народ в деревне, покрывая общие голоса громкими взрывами смеха...

Эти голоса доносились с Птичьего острова, который недаром самоеды прозвали „птичьим базаром“.

Обыкновенно я отправлялся на Птичий остров в сопровождении моего верного пса Яхурбета.

Столкнешь легкую морскую шлюпку, поставишь на нее мачту и парус, посадишь пса, положишь ружье, фотографи-

ческий аппарат и припасы, оттолкнешься от берега, и уже попутный ветерок несет тебя, слабо колыхая по волнам.

Отъедешь версту, две, войдешь в широкий залив острова и уже тут, на воде, первые вестники этого острова — белогрудые, плотные гагарки. Чем дальше, тем больше встречаются они группами, — и не боятся человека, а спокойно плавают тут, с любопытством вытягивая свои головки.

Хлопнешь, бывало, в ладоши и крикнешь им — „берегись“, — они взбегут сажень от носа лодки и снова в волнах, снова заныряют в проз

Но вот и остров показался морю, вот и ясно уже доносятся Громадная, расколота поперек скала; внизу, во впадинах, еще лес, и весь остров, исключая зеленой вершины, весь обрыв его, скала еще издали белеют белобрюхими гагарками, которые то снимаются тучами и падают на тихую воду, то поднимаются и садятся на эту скалу.

Еще немного пути, и мы уже совсем окружены птицами. Еще немного времени, и в воздухе уже слышны только одни их голоса. Громкие, зычные голоса, которыми они созывают друг друга. Но голосов острова еще плохо слышно: слышно только, как порою доносится гул, словно, действительно, там собралась масса народа, как на торжище.

Но вот, там, с острова, завидели приближающегося человека, и видно уже, как летят к нам белые клуши, и слышен зычный крик морской чайки, которым она так отличается в тысяче птичьих голосов, и птицы тучами поднимаются в воздухе и снова садятся на остров.

Теперь над нами кружится десяток белых клуш,— они встревожены, что завидели в лодке собаку, и то падают стремглав вниз, готовые ее задеть крылом, то снова поднимаются и кружатся над самой лодкой, свистя и размахивая в воздухе громадными своими крыльями.

Но вот и самый Птичий остров с его миллионным птичьим населением. Темные скалы покрыты сплошь птицами, с их выступов, с каждого камешка на нас смотрят тысячи черных глазков. Видимо, птицы немного встревожены нами, но еще не летят, словно дожидаются чего-го.

Я салютую им выстрелом штуцера, и они, как туча, проносятся над моей головой со свистом крыльев, а между тем, на скалах будто их и не ubyло, так много тут этой шумной, говорливой птицы.

Это самое красивое зрелище: в первую минуту вы видите, будто к вам сыплется сверху скала, вы слышите непрерывный шум крыльев; но вот птица, испуганная вашим выстрелом, снова уже садится, снова кричит, гагает, как бы приветствуя вас громким, неумолкаемым криком.

Вы невольно останавливаете бег шлюпки и засматриваетесь на эту скалу.

Она точно живая, эта скала птиц, вы почти не видите ее черного камня; и издали, и вблизи она белая от массы видимых вам белых брюшков птиц, которые сидят тут на каждом выступе, прижавшись грудью к белым камням, и гогочут.

Но самый верх скалы занят хозяевами этого острова,— морскими чайками. Белые фигуры их со сложенными красиво крыльями, словно часовые, сторожат свою гору.

Мы плывем дальше и доплываем до края этого небольшого острова, который оканчивается красивой сквозною пещерой.

Это самое оживленное и красивое место птичьего базара, и я всегда любил проплывать в эти водяные ворота, в которых в тихое время как-то сразу замолкал шум голосов птиц, чтобы через минуту снова оглушить вас своим шумом.

Возле этой красивой скалы я всегда приставал.

* * *

Вот и самый Птичий остров, царство птиц.

На верху — ровная, покатая по бокам, зеленая равнина покрытая травой. По этому газону всюду цветочки маргариток, и глаз невольно останавливается на этом милом скромном украшении. Цветочки мака, низенькие здесь, как вся растительность на этом полярном острове, красиво оттеняют каждый камешек, под защитой которого они укрылись, под пригревом которого они тут выросли.

Но не успели вы сделать несколько шагов по этой зеленой площадке острова, как словно из-под земли, вылетело несколько пугливых птиц.

Но это уже не те, что мы видели на обрыве острова, это новоземельские гаги. Вы замедляете шаги, всматриваетесь дальше и с трудом различаете сидящих на яйцах самок, которые искусно создали себе низкие теплые гнезда и искусно скрыли свою пестренькую, словно мох, окраску. Шаг, два, и вы почти под ногами видите эту птицу, которая слилась почти с зеленоватым мхом. Но одно неосторожное движение, и птица уже побежала; один неосторожный жест, и она уже в воздухе, и перед вами только ее гнездо, в котором она спрятала в мягкий, нежный пух свои яйца или пушистого серенького птенца.

Собака давно уже на стойке, но я не обращаю на нее внимания; когда же она горит желанием схватить прижавшегося детеныша, я ее строго окликаю, и виноватый пес

невольно поджимает хвост и отходит в сторону, чтобы снова наткнуться на другую птицу.

Но охота решительно сегодня не удастся моей собаке, ее беспокоят чайки, и она с тоскою посматривает на эту докучливую птицу, которая вот-вот готова опуститься со- всем и впиться в ее мохнатую спину.

Но мне не хочется следить за собакой: во мне невольно загорается любопытство, и я опускаюсь у первого же замеченного во мху гнезда гаги, которая только что взмахнула и отлетела не больше как на сажень от гнезда.

Гнездо спрятано от глаз в небольшом углублении и искусно убрано мхом, водорослями и покрыто серым пером и пухом.

Этот пух и перья птица выдергивает из своего брюшка, и ее голубовато-зеленоватые, слегка крапленные яйца красиво лежат в этом сером, пушистом одеяльце, которое предохраняет их от холода.

Вы трогаете осторожно одно яичко и чувствуете еще теплоту только что улетевшей птицы. Их четыре в этом гнездышке, но птенцов, вероятно, выйдет меньше, потому что у этой птицы много кругом врагов. Вы видите, как на пустые гнезда опускаются, только и дожидаящиеся этого момента, чайки, схватывают яйца, уносят их и тут же перед вашими глазами долбят и выпивают их.

Это возмущает вас, как охотника, вы невольно делаете выстрел, и пара больших хищников со свистом падает на землю, сзывая своим падением массу других подобных хищников, которые поднимают страшный крик над вашей жертвой.

Но теперь они уж осторожнее, эти прозванные норвежцами „бургомистры“, и, боясь огня, выше поднимаются над вами в воздухе и не смеют опуститься близко.

Но гаги, словно не слышали выстрелов, и спокойно продолжают сидеть почти под самыми вашими ногами.

Вы идете дальше по острову и сворачиваете, наконец, к его высокому обрыву. Перед вами чудное, тихое, едва волнующееся сегодня море. Дальний горизонт почти слился в прозрачном воздухе, и только видно, как колышется там что-то, не то волны моря после зыби, не то волны прозрачного текущего над морем теплого воздуха.

Но шум голосов под вашими ногами сразу привлекает ваше внимание, и вам кажется, что вы вошли в обширное зало, полное публикой.

Там, внизу, под ногами, на темных камнях — целое море гагарок, по выступу целые их тысячи, и вы невольно заглядываетесь на них, садитесь на первый свободный выступ и смотрите на эту своеобразную, шумную жизнь птиц.

Боже, сколько их тут вот под самыми вашими ногами, и какие они красивые, какие они милые, смирные, ручные, со своими сизыми спинками и головами, со своими черными острыми клювами и любопытными смелыми глазами, которыми они смотрят на вас, словно чего-то от вас ждут, и, видя, что вы не сделаете им вреда, сразу успокаиваются и замолкают.

Вы вглядываетесь в них и замечаете, что почти у каждой из них между лапками по крупному, спрятанному наполовину в пух, прижатому к теплой скале, яичку. И вы видите, как они берут его, как нежно прижимают его к этой темной скале, которая более всего нагревается лучами ясного, теплого солнышка. Некоторые из них совсем недалеко от вас, и вы можете свободно достать их своей тросточкой. Но вам жаль их беспокоить, и вы только смотрите на эту милую птицу, любуетесь на них.

Но вот на обрыве камня началась борьба: птицы дерут-

ся за место, спихивают друг друга; вот полетело и разбилось внизу о камень яичко, вот детит за ним и следующее, и обезумевшие птицы быстро награждают друг друга ударами крыльев и клювом. Еще момент этой злобной схватки, и оба врага валятся под скалу, сталкивают в своем стремлении других, а на шум их голосов уже кружатся над ними хищные поморники, готовые воспользоваться их оплошностью, чтобы подобрать яйца или беззащитных птенцов.

Эти „бургомистры“, эти „клуши“ — настоящие разбойники острова: они, повидимому, и живут только тем, что сидят, выстроившись в ряды, на самом обрыве, зорко следя, не останется ли где яйцо или детеныш, чтобы в одно мгновение броситься оттуда на жертву, схватить ее, и с радостным криком унести свою добычу.

Между тем, пострадавшая не видит всего этого и, возвратившись с моря обратно, стремительно напускается на свою мирную соседку, воображая, что это она воспользовалась ее отсутствием и взяла и прижала к скале ее собственное яичко. И вот, между птицами снова схватка, снова жестокое побоище, в котором яйца летят вниз, детеныши сталкиваются в воду, и происходит общая суматоха, которая на руку зорким хищникам.

Но не всюду такое воинственное оживление: порой попадают мирные уголки, где птицы совершенно спокойно выводят птенцов. Такие мирные колонии часто попадались мне по одну сторону острова, где слоение шиферного сланца словно нарочно для них оставляло маленькие своеобразные терраски, по которым птицы могли даже прогуливаться в минуты отдыха.

Здесь особенно хорошо можно было наблюдать их тихую жизнь, можно было видеть весь их домашний обиход, все их домашние привычки: то они тихонько, с самоотвержен-

ностью истых матерей, выдергивали из своего брюшка перья, чтобы прижать яичко ближе к телу, или кормили своих маленьких в пестром пуху детенышей, принося им с моря целый рот мелкой морской рыбы.

Но всего интереснее было смотреть, как птицы спускали в море своих маленьких детенышей. Это был, видимо, праздник всего птичьего „базара“, и я не раз наблюдал, как на него слеталось до сотни посторонних птиц. Вероятно, потому что птицам трудно было охранять детенышей, они очень рано спускали их в море. Детеныш только что еще вышел из яйца, он только еще поднялся на свои маленькие лапки, как уже мать безжалостно хочет столкнуть его со скалы прямо в море, а птенец в испуге лезет под крылья матери, что-то крича, в испуге мечется по родной площадке и прижимается к камням. Но ему недолго приходится тут отсиживаться; матери не хочется его кормить, и голод снова заставляет его выйти из родного убежища. Стоит только ему подойти к краю скалы, как мать снова начинает его тихонько сталкивать, что-то ему ласково говоря, и глядишь, он уже как камень падает вниз со страшной для него высоты прямо в клокочущее море.

Вы думаете, что он убился о скалу, вы думаете, что он ударился до смерти о волну,—ни чуть не бывало! Через секунду вы уже видите его в прозрачной воде, на поверхности моря, и к нему бросается целая стая кричащих гагарок, вместе с матерью; все они начинают зычно кричать ему, чтобы он плыл дальше от бурного берега, словно предупреждая его об опасности.

Берег, действительно, опасен: вы видите, как детеныша высоко подбрасывает волна; вы видите, как она грозит его бросить на камни; но его во время спасают взрослые птицы, и через минуту, он уже далеко отплывает от скалы

и целая орава крикливых гагарок начинает над ним хлопотать, то схватывая его за голову и заставляя его нырять, то просто падая на него, чтобы он от испуга поскорее скрылся в воду. И детеныш, маленький, как комочек пуху, беспрестанно ныряет в воде и уплывает дальше и дальше в море, сопровождаемый криком больших.

И через полчаса малютка уже далеко в открытом море: он надолго покидает родной остров, уплывая все дальше и дальше, и долго еще видно, как его окружает толпа взрослых птиц; долго еще видно издали, как они ведут его в открытое море...

Как там, в открытом, порою страшно бурном море, пробиваются в первое время эти маленькие детеныши — неизвестно; но моряки нам не раз передавали трогательные рассказы защиты их от непогоды взрослыми гагарками, которые во время бури старались их держать около себя и даже, случалось, принимали их к себе на спины, где птенцы сидели, уткнувшись в перышки гагары, еле-еле удерживаясь, когда хлестали их страшные волны.

Можно себе представить, какую суровую школу проходили эти птенцы, со сколькими невзгодами и опасностями приходилось им бороться в детстве. Но зато какими сильными вырастали они! Мне не раз самому приходилось удивляться выносливости этих сильных птиц, когда они целыми днями в бурю держались на поверхности воды.

Но эти гагарки, эти пингвины, эти чайки поморки — далеко не все население „птичьего базара“. Там есть любопытные уголки и с другими птицами, на этом же острове была одна скала, которую прозвали самоеды „скалою топориков“.

И, действительно, тут жили птицы особой породы пингинов-гагарок, с оригинальным, красноватым, толстым

носом, который походит на топорик, и с таким красивым оперением, которое сразу ставит эту птицу выше всех других пород пингвинов.

Меньше ростом обыкновенной гагарки, почти стоящая на коротеньких хвостах, с желтоватыми голыми лапками, с белой грудью и с сизой окраскою головки, на которую словно надета черная шапочка, и с оригинальным, широким, плоским носом, украшенным светлыми и желтыми бороздками, эта птица-топорик всегда привлекала мое внимание.

Я долго засиживался, долго следил, как птица-топорик, сначала спугнутая, кружилась около меня; я даже, случилось, прятался от нее между кочками и камнями со своим фотографическим аппаратом, чтобы дожидаться того времени, когда она снова выстроится в ряды где-нибудь поблизости на выступе камня и снова займется своим делом,— красивая в своем наряде и оригинальная по своим милым движениям,— чтобы наблюдать ее, уловить минуты ее свободной мирной жизни.

Эти милые птички-топорики так же, как и гагарки, питаются рыбою; детенышей своих они высиживают в глубоких расселинах камней и скал.

Вероятно потому, что для их гнезда требовались каменные трещины, топорики и жили в такой части этого маленького островка, которая более всего подвергалась разрушению моря.

Это была интересная скала, где камни уже наполовину обрушились, подмытые волнением, где скала уже наполовину осела и повалилась в море, образуя в одном месте такой красивый сквозной грот, сквозь который всегда так и хотелось проехать на шлюпке, если бы только не было опасности от волнения и подводных камней.

Тут же рядом, в той же скале, в таких же трещинах, жили зимовщики этого острова,— черные летом и белые зимою,— чистики.

Это была совсем смирная птичка, которая, казалось, даже любила человека.

Черная, с острым, как у гагарки, носиком, с красноватыми лапками и белым пятном на крыле, она много меньше топорика. Ее можно было всегда встретить и на море, и на этом острове, и даже у самого берега, где она привольно плавала, всегда что-то жалобно посвистывая, словно жалуясь на что-то.

Птичку эту особенно интересно было наблюдать зимою на полыньях полуоткрытого моря. Только что, бывало, покажешься там на маленькой лодочке, выехав в полярные сумерки в море, как, откуда ни возмись, уже чистик тут и с жалобным писком кружится в воздухе около лодочки подплывает к ней, весь рябчатый, с красным красивым клювом, и ныряет, пищит, гоняется за лодочкой, словно жалуясь человеку на долгую, суровую зиму и на свое холодное в скале гнездо, где он должен скрываться в продолжительные и убийственно долгие зимние бури.

Но теперь, летом, он уже в другом наряде,— весь черный, как и его скала из шифера; только красный клюв и лапки еще напоминают его зимнюю окраску.

Этот чистик тоже живет в скалах подобно топорiku, и тоже, как и он, кладет там яички, выводит детенышей, которые после улетают и уплывают в море.

На этом же птичьем острове есть и еще несколько любопытных, безобидных жителей, которые гнездятся среди общей массы гагарок.

Это несколько пород чаек, из которых самой любопытной была для меня трехпалая, маленькая, с черной голов-

кой, чайка, которая вила, как ласточка, гнезда на самых неприступных обрывах. Эти обрывы, эти отвесные скалы с рядами прилепленных гнездышек, эти бесшумно летающие сизые чайки, бывало, также меня увлекали, как и колонии топориков, и я просиживал там целыми часами.

Но это уже было не то оживление, как у гагарок, это уже была другая, более тихая, мирная жизнь.

Такова была картина этого птичьего острова, которой я так часто любовался. Но не все приезжают сюда только ради наблюдения и любопытства: большею частью сюда является человек за промыслом.

На этот птичий остров приплывали семействами за промыслом самоеды. И летом, и ранней весной, и поздней осенью они являлись сюда за яйцами и птицей. Это был их птичий двор. Они приплывали сюда со своими большими лодками и выходили на остров с веревками и мешками.

И птица уже, бывало, издали, услышав человека, летела с криком, поднимаясь высоко в воздухе с неистовым криком. Самоеды ловко взбирались на скалы для сбора яиц, повисши на веревках вдоль скал над уступами.

Через какой-нибудь час-два уже мешки самоедов наполнены убитыми птицами, корзины полны яйцами, и самоеды отправляются на свои лодки и плывут в свою колонию.

После человека разве только белый песец еще потревожит эту мирную жизнь. Песец забирается сюда обыкновенно еще ранней весной по льду, в верном расчете, что ему можно тут смело вывести и прокормить свое многочисленное и прожорливое семейство.

Я не раз, сидя на обрыве птичьего острова, наблюдал эти вылазки маленького белого хищника. Он крался, как настоящий вор, полз к замеченному низкому гнездышку и

подолгу выжидал, запавши за каким-нибудь камешком, чтобы броситься, когда птица слетит с гнезда. В один ловкий прыжок он хватал ее пестрое яичко и нес его к детям, которые уже в нетерпении давно выбегают на берег из своей норы и настораживают длинные ушки, прислушиваясь, удастся ли хищничество их матери. Далеко встречают они мать, мурлычат, виляют хвостом, следуя за ней в свою нору, чтобы потом съесть добычу и снова выбежать за маткой.

Если вместо яйца попала в зубы песка сама птица, то нужно было видеть, как маленькие песцы рвали ее с дракой у своей норы и пускали пух и перья по ветру.

Раннею весною в апреле, а иногда и в мае, море у этого острова еще не вскрывается от льда. Птица, тучами летевшая на остров в безветренную погоду, при малейшем испуге прямо валится на лед, и так как крылья у нее короткие и слабые, то она и ждет ветра, который поможет ей подняться на воздух.

Вот тут-то и пользуются маленькие белые хищники, явно нападая на беспомощную птицу.

Я видал один раз такие разбои и, когда издали слышал плачущие голоса этой птицы, обыкновенно спешил туда на выручку.

Песцы, собравшись по нескольку штук, травили какую-нибудь отсталую от стада гагарку, подкрадывались к ней, быстро бросались, насккивали на нее и рвали ее за крылышки. Сначала гагарка пробовала отбиться от них своим острым клювом и лапами, в крайнем случае бросалась на спинку и отбивалась лапами, но они ее преследовали, и вот после долгой борьбы птичка ослабевала, и тут-то зубы хищника впивались в ее шейку.

Порой так погибали десятки и даже сотни птиц. Порой

у островка стояли такие душу раздирающие крики, что, казалось, стонет где-то и зовет на помощь ребенок. И я всегда спешил к бедным птицам со своею собакой, которая быстро разгоняла хищников.

Такова жизнь этого птичьего острова, называемого само-едами „птичьим базаром“, куда я так любил ездить в минуты горя или раздумья.

После каждой такой поездки на остров, обыкновенно, долго еще стоял в моих ушах крик птицы, и в глазах мелькали фигуры их, сидящие и летающие, и после того мне уже не было так скучно в моем одиночестве, словно я побывал где-нибудь в обществе или повидался с близкими людьми.



Около самой нашей зимовки на Новой Земле поселилась клуша.

Разумеется, первым заметил ее появление наш поваренок Мишка, отличающийся такою наблюдательностью, что ему позавидовал бы всякий натуралист.

— Барин,—вбежал он поспешно в мою комнату:—клуша прилетела!.. Ей-богу, клуша прилетела, сам своими глазами видел ее.

Стоял март на дворе, на нашем острове было еще холодно; кроме солнца, яркого, сияющего, но холодного, ничто не напоминало о приближении весны, и радостная весть словно всколыхнула всю нашу зимовку, и мы все сразу выбежали на крыльцо, чтобы увидеть этого первого вестника весны.

Действительно, недалеко от нашего полярного домика на отвесной скале сидела клуша.

Громадная белая чайка, размером с нашу домашнюю курицу, как только заметила наше движение, тотчас же снялась со скалы с громким пронзительным криком.

„Ку-лы, ку-лы-ы, кло-кло“,—донеслось ее зычное, громкое и вместе с тем как бы радостное клокотание, и она, плавно скользя с самой вершины скалы, понеслась навстречу нам, размахивая широкими крыльями, и взмыла над нашей зимовкой.

— Клуша, клуша прилетела,—заговорили весело матросы-зимовщики.—Недалеко весна,—ответили другие,—и этот крик крупной белой птицы так обрадовал нас, как будто мы увидели кого родного.

А громадная клуша, отливая на солнце своими голубоватыми крыльями, носилась над самой нашей колонией с криками, как будто в свою очередь удивляясь тому, откуда взялись люди в ее отсутствие на этом пустынном берегу, рядом с ее гнездовищем.

Теперь мы вполне рассмотрели ее. Это, действительно была настоящая клуша, самая крупная, смелая и сильная из породы чаек на этом острове, которую за что-то иностранцы называют бургомистром.

Поваренок Мишка уже мечтал:

— Вот уж, ребята, она тут загнездится, я достану вам ее яйца, какая солянка выйдет с треской, если полить ее маслом!.. Бывало, мы на Мурмане целую весну кормились яйцами, как только прилетят клуши.

— Посмей только ты у меня,—оборвал я его мечтания,—прошу не трогать ее яиц; можешь, где угодно, брать их себе, только не рядом с зимовкой...

Мишка, казалось, понял мои намерения, и мне более не пришлось об этом ему говорить, хотя и самому хотелось такой солянки.

А клуша, наша вестница весны, полетала-полетала около нашего домика и, словно решив, что мы не тронем ее, спокойно уселась на своей скале, любуясь знакомой родной картиной.

Залив еще спал под толстыми неподвижными льдами; в горах не было даже проталинки, и из ущелья гор несло таким холодом, что казалось, до весны еще было очень далеко. Но присутствие клуши нас радовало, и, когда я прогуливался утрами по берегу, она спокойно сидела на скале. Когда я подходил к ее гнездовищу у обрыва нашего скалистого берега, она спокойно разглядывала своими умными серыми глазами и только тревожилась при виде моей собаки, кажется, предполагая в ней врага своему гнездовищу.

Скоро клуша так привыкла к моему частому появлению на берегу, что мне казалось, что она ожидала моего появления, приветствуя меня своим криком, даже не слетая теперь со скалы при моем приближении.

И чем больше я узнавал ее, наблюдал, тем она мне все более и более нравилась, и чем более я с нею знакомился, разговаривая с нею, она становилась смелее.

В одно ясное утро на скале появились две клуши. Понятное дело, это была пара, которая решила тут гнездиться. Они облюбовали эту скалу и уже не боялись присутствия человека.

Скоро между клушами начались, видимо, самые веселые разговоры: „кло-кло-кло“ — звонко раздавалось в воздухе клокотание первой птицы, ему немного нежнее откликалось „ку-лы, ку-лы-ы-ку-лы“, — и порой их можно было видеть то весело парящими в воздухе, то мирно сидящими рядом на скале.

Но, наконец, холод апреля стал уступать надвигающейся весне; на южном горизонте моря встало какое-то темное марево, вестник тепла; неожиданный ветер сломал наши льды и унес их в бушующее море, залив открылся, у нашего берега снова заиграла волна, и сияющее солнышко, оста-

ваясь день за днем все более и более на горизонте, так грело скалы, что появилась первая зелень.

И с этим надвинувшимся теплом, с бегущими шумно речками, словно ожил самый остров; загудели пингвины на берегу, заносились в воздухе пуночки, зазвенел мелодичный голос белого лебедя, закричал серый гусь, и наши клуши занялись гнездованием.

Они все дни таскали откуда-то сухие грубые водоросли, устилая ямку в отвесной скале, носили туда разный хлам, намытый морем с берега, и скоро на скале появилось их гнезнышко в виде большой и темной корзины.

Теперь они почти не улетали от своего гнездовища, видимо, зорко присматривая за ним, быть-может, опасаясь еще близости нашего дома, еще не веря людям. И я часто, прогуливаясь по самому берегу, подходя к их наклонной, падающей в море скале, мог видеть, как одна из них спокойно сидела уже на гнезде, а другая или плавала под самую скалою, покачиваясь на волнах, или стояла на одной лапе на белом выступе скалы, сторожа свое гнездовище. Но по всему видно было, что они уже не опасались меня и моего неизменного спутника — пса и только посматривали на нас с высокой скалы, когда мы гуляли.

Полагая, что есть уже яйца, я как-то послал Мишку посмотреть гнездо, так как он был несравненный мастер взбираться на высокие скалы.

Клуш, по счастью, не было около, они улетели куда-то за добычей, и Мишка живо взобрался на скалу и крикнул оттуда:

— Есть!

— Сколько? — кричу ему.

— Парочка.

— Покажи!

Он поднимает одно, и я вижу крупное, размером почти с гусиное, оливковое круглое яйцо с темными коричневыми пятнышками.

— Довольно! — кричу ему, — спускайся скорее, чтобы тебя не заметили.

И Мишка, как белка, летит со скалы и рапортует об устройстве гнезда, видимо, очень заинтересованный этой новой должностью натуралиста.

— Гнездо не ахти какое теплое; одни водоросли какие-то, яйца прямо чуть не на голой скале; но около гнезда столько хламу разного: скорлуп других яиц, костей разных птиц, даже головы рыб, раковины, так что они, должно быть, гнездятся здесь уже давно.

Пока мы разговаривали у скалы, прилетела одна клуша. Но, повидимому, она не заметила нашего лазанья и, что-то курлыкнув вполголоса, спокойно устроилась в гнезде, не обращая на нас никакого внимания.

Я стал присматриваться, чем питается эта большая птица; но оказалось, что она далеко не одною рыбою питается, которую ловит у самой скалы, порою стремглав бросаясь на нее оттуда, замечая ее появление у поверхности воды с своего высокого удобного поста, а отправляется также или в сторону Птичьего острова, или же летает над заливом, кружась, высматривая себе там живую добычу.

* * *

Однажды я застал этих клуш в самом разгаре их охоты. Над совершенно тихим заливом кружатся клуши, из прозрачной воды нет-нет кто-то появится на секунду на поверхности и тотчас же нырнет; тогда клуши с криком одна за другой падают на воду, чтобы схватить это ныряющее существо, которое они прекрасно видят в глубине прозрачной

воды. Мое неожиданное появление и громкий окрик немного задержал птиц, и недалеко от скалы я увидел вынырнувшего нырка, прилетную уточку, которая даже раскрыла рот, так загоняли ее эти разбойницы. Но только что несчастный нырок успел передохнуть, как снова началась на него охота. Птицы прекрасно видели, что ему решительно не было спасения, и, продлись еще немного времени эта травля клуш, он неизбежно был бы в их когтях.

Мне так стало жаль несчастного нырка, что я выстрелил, чтобы прекратить эту ужасную травлю. Клуши отлетели в сторону, и нырок с раскрытым клювом пробрался, наконец, к своей речке и скрылся там в расселинах скалы, чтобы окончательно укрыться от своих ужасных преследователей. Клуши, обиженные, улетели на Птичий остров.

На Птичьем острове, где гнездятся пингвины, клуши тоже вели себя самым разбойничьим образом.

Они просто пользовались там всяким удобным случаем: как только слетал какой-нибудь пингвин на виду, они уже тут, у самого его гнезда, и его яичко уже в их лапах. Разумеется,—отчаянный крик обиженных пингвинов, самое жалобное пищание чистиков; но клуши были неумолимы. Они буквально грабили этих птиц, являясь сюда как в курятник и безнаказанно опустошая их гнездовища.

Эти разбойничьи наклонности клуш, за которые, вероятно, и звали их моряки бургомистрами, были мне крайне неприятны, и я было уже разочаровался в своих соседях, поселившихся около моего домика.

Но скоро у них появилась премиленькая любопытная семейка.

Однажды Мишка приносит мне радостную весть:

— У клуши выпарились птенчики.

— Что ты!—говорю.

— Хоть сами посмотрите: трое птенцов.

Мне крайне любопытно было взглянуть на это соседнее семейство, и мы отправились с Мишкой на скалу, хотя это и неособенно было приятно клушам.

Какой крик поднялся у клуш, когда мы приблизились к скале и обнаружили свои намерения! Пока мы лезли на скалу, они созвали всех соседних родственников им клуш, крича о том, что происходит на их берегу. Были моменты, когда клуши налетали на нас и грозили клювами; но мы благополучно добрались, однако, до гнезда, и я залюбовался картиной.

В расселине скалы, в ямке, было громадное гнездовище и посредине его сидели, прижавшись друг к другу, напуганные птенцы, как комочки ваты, желтоватенькие, с черными пробивающимися перышками среди общего нежного пуха.

Повидимому, они очень недовольны были нашим любопытством и шипели даже на нас своими розовыми толстыми клювами; но мы их не тронули, а, пожелав им всяческого благополучия и удовлетворив свое любопытство, спустились вниз. А Мишка, добрый до всякого живого и слабого, явился к ним даже с гостинцами, и хотя они отворачивались от его блинов, нашего любимого кушания, он, однако, оставил блины около них, говоря, что они не откажутся от них, когда мы удалимся.

Клуши, кажется, были обескуражены этими гостинцами и, помню, долго не решались сесть на гнездо, пугаясь совершенно неизвестного им предмета.

* * *

Скоро я и Мишка окончательно подружились с этими странными птицами.

Случилось так, что неожиданно выпал глубокий снег. Это бывает в полярных широтах и летом и ставит птиц и зверей в безвыходное положение, так как тогда им решительно нет возможности достать себе пищи. Вставши рано утром в этот день, я был поражен совершенно зимней картиной: весны как не бывало, горы и долина были в снегу, небо заволокло темными, ненастными облаками, из которых продолжал валить снег громадными мягкими хлопьями, и, казалось, зима возвратилась на остров окончательно.

Первое, на что я обратил внимание, это гнездовище клуш. Бедных клуш как будто даже не было, и на месте скалы, где было гнездо, спокойно белела целая горка снега, и было безжизненно и глухо.

Я командировал Мишку посмотреть, что там делается, и Мишка принес мне самые неутешительные вести.

— Гнездо, вместе с клушей, завалило снегом. Клуша там, на гнезде, над своими детенышами, защищает их от холода. Самца нет, вероятно, улетел в море за добычей. Если еще день продолжится такая погода, птенцы и клуша погибнут.

Мы собрали совет относительно спасения погибающих птиц, но все проекты были неосуществимы.

Пришлось остановиться на одном: освободить, насколько возможно, гнездо от снега и оставить клушам нашу обыкновенную пищу, в надежде, что голод заставит клуш приняться за предложенное угощение.

Мишка старательно собрал целую окрошку. Тут было и тюленьё сало и вчерашний жареный хлеб, тут были лепешки и шанежки, туда же Мишка положил и гречневой каши, благо, она давно уже всем надоела.

Было порядочно возни с очисткой гнезда от снега; но клуша не тронулась, прикинувшись мертвою, и даже не защищалась.

Каково же было наше удивление, когда наши соседи на другой день сами явились к нашему домику, словно прося у нас пищи.

Пришлось отдать им решительно все, прямо выбросив съедобное на снег, и клуши с таким прожорством занялись его уничтожением, что мы только дивились их смелости и жадности, смотря украдкой из окон.

Мишка положительно торжествовал. Он говорил:

— Посмотрите, что я устрою из наших соседок: они будут являться в наши комнаты, если простоят еще такая погода.

В комнаты клуши не явились, но их мы постоянно видели у самого нашего крыльца, и было крайне любопытно на них поглядывать из окошка, когда они, как домашние гуси, разгуливали на крыльце и клевали пищу толстыми носами. Дошло до того, что Мишка тут же бросал им пищу, и они схватывали ее в воздухе и уносили детенышам.

Мы думали уже совсем приручить этих птиц, но снова стало тепло на острове, и наши надежды не увенчались успехом. Птицы поеволле только пользовались нашими объедками, и, как только утихло море, они снова занялись ловлею рыб и разбоем на Птичьем острове. Но все же мы с ними были знакомы: когда мы прогуливались под их скалой они не смотрели на нас, как на врагов, а приветствовали нас тихим курлыканьем, а когда встречались где-нибудь далеко за колонией, то приветствовали нас своим знакомым криком „ку-лы, ку-лы-ы, кло-кло-кло“, как бы говоря нам: „будьте здоровы, соседи!“.

Как это всегда бывает, после бури наступило теплое, тихое, чудное время, в комнатах было душно, и мы отворяли ненадолго окна, наслаждаясь свежим воздухом, как вдруг однажды, только что раскрыв в кабинете окно, я был удивлен появлением неожиданной гостьи. На окно села ко

мне громадная смелая клуша и с таким любопытством заглядывала в комнату, точно, в свою очередь, желала узнать, как поживают люди.

— Клуша!— приветствовал я ее невольно восклицанием.— Мишка, клуша прилетела на окно,— крикнул я поваренку в соседнее кухонное помещение, и мы оба через минуту смотрели на неожиданную гостью, любуясь полной непринужденностью, с какой она заводила с нами более близкое знакомство, как с хорошими и добрыми соседями. Мишка предложил ей первое угощение, что только попало в руки, и клуша, словно того и дожидалась, схватила порядочный кусок хлеба и унесла его на гнездо подрастающим прожорливым детям.

С тех пор нельзя было вовсе открывать окна: она аккуратно появлялась на нашем подоконнике и так привыкла к нему, что, казалось, совсем решила получать от нас вечное пособие, чтобы прокормить свое прожорливое семейство.

Мы, было, уже мечтали с Мишкой, что и дети ее последуют примеру матери, но случилось то, чего мы не знали.

В один прекрасный день, ранним утром, птенцов не оказалось в гнездовище, и Мишка клялся, что их унесли их родители в своих клювах, еще в пуху на простор Ледовитого океана, чтобы заставить их питаться там уже самостоятельно.

Действительно, в одну неделю клуш не стало видно, и они только порою, словно влекомые воспоминанием, прилетали к нам, сидели на родной скале и снова улетали в открытое, теперь бурное море.

Незаметно быстро прокатилось короткое полярное лето, наступила скучная осень, как-то неожиданно выпал глубокий снег. И весны, и тепла, и клуш как не бывало. Их не видно было даже в бушующем море, они снялись от нас и

улетели куда-нибудь в Шотландию, где всю зиму стоит открытое море.

В этот год выпала тяжелая зимовка: зима стояла суровая, льды еще с осени затерли наш залив, и мы едва дождались, когда показалось солнышко.

Был март, но клуши все еще не прилетали; показались признаки весны, но их почему-то не было. Но вот в самое благовещение, идя задумчиво по морю открытым льдом, я неожиданно остановился: до моего слуха, как будто, донеслись знакомые дорогие звуки.

Гляжу,—клуша высоко-высоко в воздухе и, словно заметив меня на льду, изменила даже свое направление к нашей зимовке, закружилась надо мною, посылая мне знакомые приветствия: „ку-лы, ку-лы, кло-кло“.

Но в этом крике не было уже тревоги, как в прошлую весну: она приветствовала меня другим уже голосом, в котором были довольные, счастливые нотки.

— Клуша!—кричу я в ответ.

Она узнала меня, что-то еще прокурлыкала и, словно довольная, полетела дальше к колонии и уселась на родную скалу.

При виде соседки по колонии, у меня даже слезы выступили на глазах, и как-то горько сделалось от этой тяжелой и скучной зимовки.

Нечего и говорить, что клуша в этот же день, как наша хорошая знакомая соседка, явилась к нашему крыльцу за пищей, и мы были так рады нашей гостье, прилетевшей к нам по воздуху с родной стороны, что скормили ей решительно все съедобное, что только попало под руку.

С этого времени она редкий день не являлась к нам, когда было закрыто море, часто сидела подолгу на крыше нашего домика и так привыкла к нам, что с громким кри-

ком приветствовала нашего кока,* по поводу чего матросы смеялись:

— Эй, кок, отворяй харчевку: к тебе явилась квартирантка.

И кок спешил с чем-нибудь съедобным к прожорливой клуше, которая поедала решительно все, нисколько не церемонясь. Мы снова приручили вольную птицу и возвратили ее к человеку...

Вспоминая милых клуш, вспоминая свою полярную зимовку, я часто думаю о том, какая была бы счастливая жизнь, если бы ни птица, ни зверь не видели врага в человеке. Я уверен, что это может быть так, когда человек полюбит природу.

* Кок — повар.



то было на острове Литке, маленьком острове Литке в Карском море, на западном берегу полуострова Ямала. Мы только что перевалили гubu и въехали на его обрывистый волнистый берег, увидав на нем пару чумов самоедов. Был вечер, было светло и тихо; но я почему-то раздумал ставить свою петербургскую палаточку и, помню просто зашел в чум самоеда, чтобы там напиться с проводниками чаю, чтобы там и устроиться, и переночевать, чтобы завтра же рано утром ехать далее по направлению к мысу Мора-Сале.

Чум был опрятный, и мне не грозило очень нашествие насекомых; молодая смуглая хозяйка мне постлала чистую, с воздуха, белую оленью шкуру, и я, помню, посидев за чаем с самоедами и послушав ихней болтовни, спокойно лег и заснул с дороги.

Как вдруг раздался ночью страшный шум голосов птиц, которые вот словно опустились на наше чумовище. Про-

сыпаюсь и слышу удаляющееся гусиное стадо. Через минуту еще, еще с оглушительным знакомым криком казарки, — и сна как не бывало. Я тихонько, следуя по ногам и одеялам, ползу к дверям и благополучно выползаю за дверь.

Какая светлая, тихая ночь, и как чудно сегодня в полярной тундре!

И действительно, это было редкое зрелище, которое, кажется, только раз в жизни дается человеку.

Тундра кипела жизнью, гуси, серые белолобые гуси, словно сошли с ума, летали решительно по всем направлениям целыми стадами с звонким пронзительным криком и опускались на каждую зеленую лужайку; белая куропатка подняла крик в зарослях полярной ивы; снежный жаворонок взмогнулся на кочки и запел однообразную нежную песню; тюлисеи, подорожники, песочники и кулички затянули такие песни, что застонало каждое болотце; все поморники, чайки взмыли в воздух и зашныряли бесшумно по всем направлениям; белый лебедь где-то запел свою музыкальную песню, и даже маленькие пеструшки-мышки полярной тундры и те сегодня вышли из своих маленьких нор и побежали куда-то, издавая мышиный писк, словно в земле уже не было им сегодня места...

Но главный шум, главное утреннее оживление стояло не в голой тундре, а на болотах, и оттуда столько сегодня доносилось самых разнообразных птичьих голосов, что сначала даже трудно было определить их, так они перемешивались и звучали, и пели.

Я пошел туда к первому болотцу, и тотчас же наткнулся на сцену.

В полярной заросли низкорослой ивы сидит на пригреве солнышка парочка белых куропаток. Самец с красными бровями взмогнулся сегодня на самую высокую, в пол-

аршина талинку; самочка нежится, распустив крылышко под его кустом, и вдруг „кура-кура-кура“—и красивый самец раскрыл рот, словно хохочет над тундрой, оглашая ее громким хохотом-криком. И снова тишина, снова он прислушивается, не отзовется ли где горячий соперник, с которым можно было бы немедленно вступить в драку.

Я осторожно прохожу всего сажень в десяти мимо этой милой пернатой парочки, иду дальше к болоту и чуть не натыкаюсь на пару пестрых куличков тюлисеев, которые уже завидели меня и качаются, качаются, стоя на паре высоких зеленых моховых кочек.

И вдруг жалобное „тюли-тюли-тюли“, и они побежали от меня, видно: бегут, бегут, оглашая воздух жалобными криками. „Тиги-тиги-тиги!“—разносятся вдруг громко, звонко, пронзительно над самой головой, и пара гусей, пестрогрудых гусей-казарок, свистя крыльями, проносятся надо мной так низко, что я даже как будто ощущаю на лице их взмахи крыльев. „Курав-курав“,—закричал тут же вслед за ними, завидев меня, на кочках глупый поморник длиннохвостый и сразу взмыл выше на воздух, метнулся и понесся, ниже и ниже опускаясь, прямо к болотцу, над которым кричали и кружились целые стаи этих северных крылатых разбойников.

И не успел я опомниться от этих криков, не успел я проводить их глазами, остановившись, как снова уже надо мной кто-то свистит крыльями. Я поднимаю голову и узнаю белую полярную сову, которая нарочно словно прилетела посмотреть, куда я так рано направился, и как раз на самом моем пути уселась грузно, молчаливо на первую сопку. „Т-р-р-р-р, т-р-р-р, т-р-р-р“,—затрещал в стороне, пролетая, серый чирок и прямо бух в первую лужу, как будто она

ожидала его появления своей только пробившейся зеленью и мохом. И через минуту он уже пропал тут среди кочек, через минуту он снова уже вылетел и несется дальше, чтобы, так же протрещав на лету, сразу неожиданно снова спуститься на другую зеленоватую лужу.

Я поднимаюсь на первую сопочку, которая, как маленькая точка, стоит перед самым болотцем, и вспугиваю сову, которая неслышно снимается и летит прочь. Как вдруг, только что я остановился, залюбовавшись открывшимся видом озера, сзади меня засвистали крупные крылья, и над головой ясно, ясно застонал музыкальный лебедь: „О-хо-хо, о-хо-хо-хо, о-хо-хо-хо-хо“, — и красивая, большая белая птица, вытянув шею, с черными лапами, плавно проносится мимо меня, бросая на землю музыкальные звуки.

„О-хо-хо-хо, о-хо-хо-хо“, — застонал и я, подражая по-самоедски этой птице, и лебедь, белый, красивый лебедь сразу отозвался, еще, еще и стал плавно изменять свое направление, видимо, желая воротиться на звуки отвечающей его призыву самки. Я присел на кочку, продолжая кричать по-лебединому, лебедь заворотился, не долетая до болота; я припал к земле, он направился прямо в мою сторону, и крик его, музыкальный крик самке, так и приближался с ним снова к моей сопочке.

Вот он летит прямо на сопочку, свистя крыльями и, видимо, начиная спускаться; вот он уже недалеко, и я бросаю в сторону за кустик белый платочек; вот он видит его и снова подает голос, и белая большая чудная птица низко, низко так опускается и с криком, стоном, призывом любви начинает делать около меня круги, и видя меня, и, видимо, желая опуститься, полагая, что там в кустах белеет самка. „О-хо-хо-хо, о-хо-хо-хо-хо“, — еще, еще раздается голос лебедя, и я вижу, как он уже опускает черные лапы и готов

сесть, готов опуститься всего в каких-нибудь саженьях пятнадцати, обманутый голосом и белым платочком. И жаль его, и слезы восторга перед этой картиною, и страсть, страсть...

Но лебедь скоро убедился в лукавстве человека и только что хотел сесть, как снова, вижу уже, поднимается выше и выше и молча, как будто обидевшись, улетает, продолжая ронять на землю музыкальные звуки.

Я провожаю его, провожаю глазами, все еще любуясь его белым оперением, которое порою под светом красного солнца делается как у розового фламинго, поднимаю платок и снова уже перед новой картиной этой птичьей привольной жизни.

На склоне зеленой сопочки к самому болотцу — целое стадо петушков-турухтанов, целое стадо всевозможного оперения турухтанов, и серых, и пестрых, и черных, и сизых, и белых, и красных, и рябеньких, и рыжих, и все они, как словно маскированные, так заняты дракою, что ровно не обращают на меня никакого внимания, стоя, качаясь и бегая по сырым кочкам.

Несколько пар из них ведут отчаянный поединок из-за скромных сереньких и рябеньких самочек, и только и видно, как они дерутся, как петушки, только и видно, как летят их перья и они вспархивают и бегают, преследуют друг друга.

Я осторожно подхожу к ним ближе и опускаюсь на кочку всего в каких-нибудь десяти саженьях. Некоторые меня завидели и насторожились, но не улетают, и я через минуту уже замечаю, что птички, потешные, драчливые птички, снова занялись своею обыденною шумною жизнью и то дерутся, то бегают, гонятся друг за другом, то вспархивают, улетают и снова опускаются сюда же, как будто

этот сырой склончик, как будто этот сырой берег травянистого болотца с осокою — их любимое место сблища, их место постоянных поединков.

Я никогда не видал так много и так близко этих птичек и невольно залюбовался ими, как вдруг все они, словно по команде, снялись бесшумно с места и весело унесли в сторону и снова опустились к другому стаду.

Я подхожу ближе к болотцу и останавливаюсь в очаровании. Его молодая травка как зелень южного, блестящего под солнцем камыша; его кочки, простые, плавающие мшаные кочки, как ярко-зеленые островки на голубоватом фоне водной поверхности, и всюду, куда бы вы ни взглянули, всюду то неподвижные, словно заснувшие фигуры плавающих ледяных уток и савок, то живые, вечно подвижные фигурки серых каменных чирков, которые так и шныряют тут в зелени повсюду, издавая короткий, но звенящий металлический крик.

И это „кри-кри-кри“ так и звенит над этим длинным зеленым болотцем, смешиваясь с не менее благозвучными криками алеек, которые беспрестанно оглашают воздух криками „аллы-аллы-аллы“, которое так и тает в тихом воздухе этого весеннего полярного утра, словно растворяясь. И это болотце с свежою зеленью, эта чистая вода его, сбегавшая только что с покатоств темно-зеленой тундры из сугробов, все так и кипит этой пернатой жизнью, которая то плавает тут и прячется и нежится на лучах поднимающего солнышка, то вспархивает и куда-то со звоном несется, то падает и опускается на это чистое, в зеленых рамках болотце и расплывается по нем, гоняется друг за другом, что-то шавкая, разговаривая по-своему, наполняя этот воздух всевозможными криками и милыми нежными голосами.

И я, помню, долго, долго сидел тут на одной не совсем сухой кочке, любуясь этой привольной жизнью.

Потом, вдоволь насидевшись, я снова иду дальше, встречая на своем пути всевозможных птиц, и незаметно скоро, задумавшись, выхожу на берег самого моря.

Вот и оно, ледяное, спокойное, еще не проснувшееся для простора волн и шумного, веселого прибоя. Лед, лед и лед, белый, местами синеватый лед, до самого горизонта неба, и только одна полоса его у самого берега в виде спокойной реки открыта, и тут плавают тысячи всевозможных птиц, оглашая криком воздух.

Я делаю несколько шагов вдоль берега и обрыва и сразу натыкаюсь на целое громадное гнездо этого северного коршуна, которое, как беремья виц и мха и всевозможных трав, устроено в расселине неприступного, высокого глинистого обрыва. Завидев меня, с него слетает серая крупная самка, и я вижу перед собой четыре белых куриных крупных яйца, которые едва-едва так прикрыты пухом птицы.

Я делаю еще несколько шагов и слышу крик гусей, черных больших гусей, которые прямо срываются из-под обрыва. Я заглядываю туда и узнаю колонию этой птицы, которая несет свои яйца на обрывах скал. Она, подобно колонии северных чистиков, гнездится на берегах моря, несмотря, повидимому, на такое странное соседство коршунов и ястребов, которые должны бы, кажется, пользоваться ее детенышами и яйцами.

Помню, я долго сидел, опустив ноги с обрыва, на этом странном берегу и любовался этой дружной жизнью и наблюдал ее и думал. И помню, что я долго еще бродил между болотами, кочками и озерками, наблюдая новую для меня жизнь и полярную весну, и, вероятно, представлял из себя странную фигуру — в одной рубашке, с непокрытой

головой, только что пробудился и выполз из чума на улицу,— что ко мне, наконец, прискакал на оленях в санках пастух, чтобы, вероятно, убедиться, в здоровом ли я состоянии.

И, должно быть, он меня на этот раз застал тут очень странным, потому что, помню, его очень удивило то обстоятельство, что я даже не мог ему протянуть руки, чтобы поздороваться, будучи по горло нагружен только что выглянувшими в это утро травами и цветами, которые я нес для своей коллекции.

Он взялся меня доставить в чум, видя мое почти беспомощное положение,— босиком в голой тундре,— и я охотно сел на его санки и свесил ноги, и мы поехали, оставляя позади себя пару узких, сухих лыжниц, которые, как следы колес, вероятно, долго еще так останутся, видимые по прижатому ими сырому мху.

Роса блестела кругом, как бисер; зелень проглядывала, словно только что увидав свет, и солнце, низкое, так обливало мягко, нежно своим светом эту бледнозеленую растительность, как будто это был сплошной газон какого-то парка.

Вот и чум, розовый сегодня при лучах солнца, на горке. В чуму спали еще, когда я снова влез в него, осторожно прижимая к груди свою дорогую ношу.



Когда я в последний раз, года три тому назад, путешествовал по полуострову Ямалу среди самоедов и их бродячих оленей, мне не раз, не два приходилось невольно быть судьей и разбирать их дела, хоть и маленькие, но всегда крайне интересные.

Когда народ не знает ни суда, ни следствия и не имеет нужной защиты, он всегда прибегал и прибегает к посредничеству, а самоеды именно такой народ, которому редко-редко приходится бывать не только в судах, но даже в русских селах. А между тем, тот отбил у другого за что-то оленя, другой побил работника, который его не послушался, и все, как бы ни были малы и ничтожны их притязания, обязательно ищут правосудия, обязательно ищут случая снять с души старые горечи и обиды.

Никогда мне не забыть одного такого судьбища, кото-

рое мне выпало на долю в тундре. Как сейчас помню, мы только что приехали в какой-то чум. Чум был не один в этой местности: рядом, недалеко, в стороне, стояло еще их несколько, и самоеды живо собрались повидать русского человека, которого, быть может, другие сроду не видали. Самоед всегда интересуется русским и уж никогда не пропустит случая хотя издали повидать его, чтобы после сказать: — „я видел русского человека“.

Так было и в данном случае: к чуму тотчас же сбежались самоеды, и не успели мы с проводником-казакom войти в чум, как уже около нас была сплошная толпа.

Я люблю эти встречи, люблю эти минуты первого появления и любопытства самоедов, и обыкновенно самые ценные сведения мне как-то всегда приходилось записывать именно в эти моменты, когда дикарь еще не одумается и не углубится, когда он еще готов, под влиянием новости, сказать то, что он в другое время не скажет за деньги.

Так случилось и в этот раз, на этом становище; только что, помню, мы разговорились с самоедами, как сквозь толпу протискалась ко мне дряхлая старушка и, низко поклонившись, обратилась к моему проводнику с какой-то особенной просьбою.

Самоеды сразу затихли. Видно было по их лицам, что она просила о чем-то особенном, и все невольно заинтересовались ею и только поддакивали ей, когда она стала рассказывать что-то моему переводчику.

Я спросил переводчика, о чем она просит.

— Так, должно быть, пустое, на кого-то жалуется...

— Просит рассудить...

— Ну так что ж? Пусть рассказывает, в чем дело. Посмотрим.

Он перевел ей мой ответ, и она снова что-то бойко-бойко заговорила.

— Что ей?

— Она просит привести обвиняемых...

— Ну, пусть ведет, что ли...

И бабушка, провожаемая общею радостью, быстро снова протискалась через толпу и ушла в свой чум неподалеку.

Прошло несколько томительных, молчаливых минут в ожидании судьбища; самоеды тоже, казалось, чего-то ждали; разговор сразу прервался, и я сидел, поглядывая на оживленную публику, чувствуя себя настоящим судьей, как дворцы снова распахнулись, и старушка важно провела через толпу и поставила передо мной пару маленьких детей.

Я немного, признаться, растерялся, но успел совладать с собой и молча стал глядеть на маленьких подсудимых, которые были, повидимому, страшно взволнованы торжественною обстановкою.

Их было двое — мальчик и девочка. Обоим, казалось, не было и десяти лет. Они молча стояли передо мною около ставшей на колени старушки, у которой было теперь до комичности серьезное, даже сердитое как будто лицо.

У девочки был чудный костюм, весь сделанный из разноцветных шкурок оленя, у мальчика — простая мужская оленья рубашка, но сквозь них было заметно, как поднимается грудь от волнения, заметно, как вздрагивают, дрожат маленькие ручки.

Я спросил, как их зовут, и кто они такие. Девочка дрогнула и опустила свои прекрасные, темные, длинные ресницы.

Старуха ответила за них, и мой проводник перевел:
— Девочку зовут Ные-Яптик-Удукай, мальчика — Хатю-ко-Окотетто.

— Сколько им лет?

Мне перевели:

— Девочке — пятый, а мальчику — шестой.

— Что они сделали такое, что на них жалуется старушка?

И мне передали ее жалобу, что ее не слушаются дети.

Я спросил, в чем заключается их непослушание, и мне передали подробно все дело.

Старушка жаловалась на них, что она не может с ними справляться: у них нет ни матери, ни отца, они одиноки и находятся на попечении бабушки; она их единственная опекунша, на ней лежат заботы стада и чума, она должна за ними присматривать и давать им есть, но они не понимают, сколько забот лежит на их бабушке, и порою так капризничают и ревут, что она готова убежать из ихнего чума... Она сообщила даже, что они ее ругают и говорят ей: „ты, старая, ничего не стоишь, ну и убирайся вон“, — и даже грозят прогнать ее вон из чума, как только станут большими и возьмут управление чума и стада в свои руки. И в заключение старушка чуть не в самом деле рассердилась и даже поклялась, что она бросит их и уйдет в тундру, где ее неминуемо съедят медведи.

Все это сказано было по-самоедски и переведено моим толмачом на русский язык. Выслушав все, я невольно проникся сожалением к бабушке, которая, казалось, была права.

Но когда бывает суд, должны быть и свидетели спрошены. Толпа подтвердила показания бабушки.

Пришлось обратиться непосредственно к подсудимым, и я спросил их, — признают ли они обвинение?

Им перевели; но они молчали, только тяжело вздыхая, и мне пришлось невольно взяться для страха за книжку, и я еще раз спросил их.

Дети всколыхнулись, у девочки показались на глазах слезинки, но мальчик упорно, гордо смотрел на бумагу, повидимому совсем не признавая над собой ни следствия, ни суда.

Я, прочитав детям нравоучение, сказал, что бабушку нужно любить и дал детям по конфетке, которые сразу так ко мне их расположили, что они подняли на меня с благодарностью свои глазенки.

Они оба дали мне торжественное при народе обещание, тихонько проговорив: „мундармам“, что значит — они обещают слушаться и никогда уже более бабушке своей не грубить. И затем со слезами на глазах бросились целовать свою бабушку.

Я дал им еще гостинцев и, расцеловав их, отпустил, наконец, на волю.



I

то была прехорошенькая четырнадцатилетняя, с золотистыми кудрями, шустрая, бойкая, заводская девочка, отец которой,—крестьянин, как все крестьяне сто лет тому назад на горнозаводском Урале, был простым приписным рабочим Верх-Нейвинского завода, занимаясь там кричным* мастерством.

Тяжелое и суровое было это время для уральского крестьянина, приписанного к какому-нибудь заводу, где добывались железо и медь.

Ранней весной его гонят из дальних деревень на заводскую работу, опускают в шахты, темные и глубокие, чтобы он там кайлом и заступом добывал железную руду и потом

* Крица — свежая глыба вываренного из чугуна железа, идущая под огромный водяной молот для отжимки, проковки и обработки в полосовое и другое железо.

поднимал ее оттуда в бадьях на поверхность; посылают его в далекие непроходимые леса, чтобы он там рубил деревья и обжигал их на угли для завода,— в лесу приходится ему жить все лето в каком-нибудь жалком курене.

А еще хуже когда поставят его перед раскаленным горном, где плавится чугун, обжигая рабочему тело своим страшным, невыносимым жаром...

А работа кричного мастера, каким был отец Кати Богдановой, была еще хуже всего, особенно для непривычного крестьянина, оторванного от семьи и поля; он целый день возился с раскаленными, тяжелыми болванками, то перетаскивая их от печи к своей наковальне, то откалывая их так, что вокруг летели, как яркие звездочки, железные раскаленные искры...

Страшно бедно жили эти заводское рабочие, отрываемые вечно от своих полевых работ и семьи и бросающие свое хозяйство ежегодно.

И если кому жилось тогда привольно и весело, то разве разве только маленькой детворе, вроде Кати Богдановой, в высоких, лесистых, привольных горах Урала, куда они устремлялись за грибами и малиною, где они лазили по отвесным скалам, где они пропадали целыми днями за самыми разнообразными розысками чудесного и нового, где, может быть, еще не ступала нога человека.

Летом было раздолье на этом пустынном и диком Урале: цветов — целые роскошные ковры на красивых пригорочках; ягод — малины лесной, клубники, смородины, вкусной и душистой княженики, не под силу выбрать человеку, а осенью столько разных грибов, что ими запасались на всю зиму.

Было хорошо и зимой на этом горнозаводском Урале, с катанием с пригорочков на санках и лыжах, с песнями и

веселыми посиденками зимним долгим вечером, с катаньем на лошадях...

Все же лучше, привольнее всего было теплое лето. На речке Мельковке с ранней весны непрерывно звенела вода по камешкам, вымывая их беспрестанно, особенно после летних обильных дождей, такое множество, что дети всего заводского поселочка устремлялись туда, чтобы поискать разноцветных чудных камешков и поиграть ими.

А игра эта состояла в том, кто каждый в ней участвующий должен был найти пять одинаковых по размеру камешков, которые бы можно было легко и удобно подбрасывать на руке.

Задумав такую игру, бросаются дети на речку Мельковку и живо рассыплются на ее каменистой россыпи с мелкою, прозрачною ключевою водою. Боже! какое теперь горное богатство под их босыми ножками: красноватая, как запекшаяся кровь, яшма, белый кварц с металлическими вкрапинками, тут и там полосатый красивый сердолик, тут же рядом камешек зеленого красивого малахита, а там целый прозрачный, золотистый или белый кристалл горного хрусталя, а иногда даже — настоящий топаз или аквамарин, смешанный с горною родной породой. И все камешки такие яркие, чистые, — настоящая драгоценность для детей.

Насобирают целые подолы этих камешков дети, выйдут на зеленый бережок, усядутся за тенью развесистой ели или пихты и разбирают, отсортировывают свои сокровища, которыми подарила их сегодня Мельковка, расшумевшись после дождя.

Налюбуются дети вдоволь этими редкими разнообразными красивыми камешками, и ну живо играть в камешки. А игра эта заключается в ловкости рук, с которой мечутся камешки, — сначала по одному, потом по два, по три, по четыре

зараз и, наконец, по пяти так, чтобы не только метнуть камешки рукою вверх, но и словить все без остатка.

Не словил кто из играющих хотя одного камешка, обронил его,—игра его кончена, и он должен дожидаться своей очереди, чтобы снова попытать свою ловкость.

Катя Богданова в этой игре превосходила всех, как и вообще превосходила всех своих сверстников ловкостью, быстрым приметливым глазом своим и выдумкою на всякие разнообразные детские игры.

Кто сгомонил сегодня всех заводских ребят в дальние горы за малиною, не боясь даже мохнатого бурого медведя?—Катя Богданова. Кто забрался всех выше на скалу?—Тоже она. Кто взобрался на вершину высокой ближайшей горы первым, чтобы полюбоваться горным широким видом и на расстилающийся под ногами завод?—Катя Богданова. Кто набрал больше всех ягод и грибов?—Она же.

Это был настоящий коновод всех детских смелых предприятий, все равно, будь это лето красное, будь это холодною зимою. А уж кто больше всех нащел самоцветных камешков в речонке Мельковке, то это, несомненно, Катя.

Вот на этой-то речке, родной Мельковке, в поисках разноцветных чудных камешков и случилось с Катей Богдановой происшествие, которое навсегда увековечило ее имя на Урале.

II

Это было как-то летом,—ровно сто лет тому назад, когда особенно после грозы что-то расшумелась речка Мельковка, приток знаменитой реки на Урале Чусовой, по которой тогда единственно только и сплавлялись металлы Урала.

Ночью гроза была особенно какая-то страшная: молния блистала почти непрерывно, не утихая ни на минуту; гром шумно, звучно, порою со страшными ударами разражался в высоких горах, и дождь барабанил таким продолжительным ливнем, что избушка Кати Богдановой только вздрагивала.

Вся семья уснула только на заре, и, как только показалось яркое солнышко, Катя Богданова была уже на берегу особенно шумевшей сегодня речки.

Речка Мельковка была в настоящем разливе: мутная белая вода с шумом летела с далеких гор и плескалась о прибрежные камни; на середине ее были настоящие высокие волны, и дно ее гудело, как будто там ворочались тяжелые камни, как жернова, до такой степени был силен поток, такая силища гнала сверху дождевую воду...

Катя долго любовалась грозным видом обыкновенно тихой и маленькой горной своей реки, и как только спала вода, как только пронеслась она с гор высоких, накопившись там после сильной грозы,—она уже была во главе целой партии заводских детей в поисках чудных находок.

И, действительно, сколько чудных и редких камешков вымыла сегодня из своих берегов родная речка: хрусталь и топаз так и блестели в воде, как яркие брильянты; красная яшма горела своими яркими красными разводами; опал, как жемчуг, гляделся среди камешков и мелкого золотистого песка, а зеленый малахит, как незабудка, выглядывал из-за камешков, заставляя детей кричать друг другу о редкой находке.

Это была целая россыпь камней самого разнообразного цвета; и мальчики, засучив свои штанишки, а девочки подобравши свои юбочки, то и дело, звали друг друга к себе, чтобы показать, похвалиться редкой находкой. Раз-

ноцветных камешков было громадное количество; дети уже насобирали их чуть не полные подолы, а камешки все попадались и попадались один другого заманчивее, увлекая детей все дальше и дальше вдоль речки.

Как вдруг Катя Богданова, по обыкновению всегда впереди всех других своих сверстников, крикнула и бросилась вперед, увидавши какой-то необыкновенный камешек.

Камешек, действительно, был какой-то необыкновенный, — блестящий, как золото, тяжелый такой на вес, и в то же время он не походил на камешек, а скорее, как будто, на застывшую лепешечку, покрытую матом.

Разумеется, Катя Богданова собрала всех своих сверстников, чтобы полюбоваться находкой, и они один за другим бережно, как драгоценность, брали из ее рук этот чудный, золотистый, матовый камешек, и смотрели на него очарованными глазами.

Но что это за камешек, такой тяжелый в руке; что это за камешек, такой золотистый, как кудри его нашедшей девочки, — ровно никто из детей не мог сказать, почему Катя Богданова бросилась к своей матери, чтобы показать ей свою находку.

Катя чуть не до смерти перепугала мать свою, чем-то занятую по домашности, с такой поспешностью влетев в домик свой, вместе с многочисленными подругами, по случаю этой находки.

— Господи, боже мой! — только проговорила ее мать. — Да что такое случилось у вас?

Но не успела она закончить вопроса своего, как все заговорили вдруг про чудную находку.

Катя подала матери золотистый камешек; но и та не могла определить, что это за камень такой, и только назвала его „рудю“.

— Руда какая-то, девушки,— только сказала она,— ужо положьте на божничку, придут вечером рабочие с завода, они скажут. Они все знают насчет разной руды, и я скажу вам тогда, какую находку нашла Катя.

И, посоветовавши дочери переодеть скорее юбочку, она снова занялась хозяйством.

III

Прозвенел вечерний, урочный, заводский колокол; посыпался рабочий народ из завода по улице, торопясь к своим, после тяжелой и долгой работы, и тихая улочка, где жила Катя Богданова, живо наполнилась рабочими, и заводская слободка словно вдруг ожила от говора торопящегося к домам народа.

Возвратился, по обыкновению невеселый после тяжелой работы, и отец Кати Богдановой; но ни девочка, ни мать ее не посмели сказать тотчас же о находке. Приличие требовало сначала накормить проголодавшегося рабочего, за столом тоже было не принято говорить,— так почитался каждый кусок хлеба; и только когда семья вышла из-за стола, Катя завертелась что-то около отца, готовая выдать свою тайну.

Но мать ее опередила:

— Глядь-ка, отец, какой чудный камешек сегодня нашла наша вострушка в Мельковке! На что я постоянно хожу за водой, и то не видала такого камешка, насколько он чуден. Должно быть, какая руда...

— Покажи-ка,— обратился он к дочери, уже направляясь на улицу, где обычно рабочий народ собирался под вечер, чтобы покалякать на завалинке.

Катя живо вскочила на лавочку, достала камешек с божнички и с поспешностью и радостью подала его своему отцу.

Тот взял камешек, повертел его в руке, повесил, но не сказал ни слова.

Отец Кати Богдановой был крайне неразговорчивым человеком, и Катя так не дождалась ответа отца, хотя всячески старалась, чтобы он вымолвил хоть одно какое ей слово.

Катю даже обидело это невнимание; но скоро она услышала в окно, что на завалинке разговаривают про камешек, и девочка живо притихла в избе и стала прислушиваться к каждому слову.

А за окном, на завалинке, собравшиеся уже товарищи-рабочие стали исследовать камешек, каждый по-своему, заинтересовавшись им: кто провесит его на руке и скажет, что это, должно быть, какой-нибудь металл; кто ударит его о кремень свой, которым тогда раскуривали трубки, и скажет, что он не дает искорки; кто попробует его зубом своим и скажет, что он мягкий; кто поскоблит его ножичком и скажет, что он блестит...

— Руда какая-то, ребята, в нашей речке Мельковке находится,—сказал только один рабочий,—только какая руда,—не знаю, медная — не медная, железо — не железо...

Как вдруг один рабочий, рассматривавший блеск камешка, заметил:

— Уж не золото ли, братцы, это в нашей Мельковке? Чего нет на Урале! Находятся, слышать, даже драгоценные камни...

— И впрямь, братцы, не золото ли? По-золотому, ровно, блестит, только вот мягко,—говорили рабочие.

И эта мысль так заинтересовала рабочих, что они тут же решили отправиться к батюшке, который считался начитанным, самым умным человеком в заводе.

Батюшка сидел в это вечернее свободное время перед сном, тоже на завалинке, и обрадовался, когда к нему подошли рабочие.

— Что скажете, братие? — благословивши всех, обратился священник.

— Да вот, извините, батюшка, пришли мы вам показать одну находку. В Мельковке нашей отыскала ее одна девочка, вот дочь его, — указали на отца Кати Богдановой, — и что это за камешек, что за руда — мы никак не можем догадаться...

— Покажи-ка, — обратился батюшка к отцу Кати Богдановой, — знаю я твою дочь, — и протянул свою руку. Ему подали камешек, и он тоже, как рабочие, страшно им заинтересовался.

Батюшка внимательно стал рассматривать камешек, весил его на руке и вдруг по лицу его пошла счастливая улыбка.

— Как будто, ровно, золото... Золото и есть, — заговорил он вдруг и так обрадовался этому, что тут же кликнул свою попадью.

На зов его живо явилась матушка, и батюшка к ней обратился:

— Ну-ка, мать, сними свое обручальное кольцо золотое на минуточку, — рабочие принесли мне камешек, как-будто он похож на червонное твое золото, что в колечке.

Матушка торопливо сняла с своего опухшего пальца золотое обручальное кольцо и подала его священнику, предупредивши, чтобы оно куда не закатилось.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, матушка, — заговорили рабочие почтительно и еще теснее окружили теперь батюшку, который стал сличать кольцо по блеску с камешком Кати.

Чиркнет тихонько батюшка по шиферной доске золотым кольцом, чиркнет найденным камешком, помуслит и смотрит, какая металлическая черта осталась по следу. Что червоное золото, что и камешек Кати Богдановой делают совершенно одинаковую черту.

Исчеркали всю шиферную плиточку, и батюшка объявил, что это не иначе как золотой самородок.

„Золото, золото“, — заговорили радостно рабочие и с вестью, что у них на речке Мельковке объявилось золото, про которое даже и не слышно было на Урале до этого времени, разошлись в тот летний вечер по домам, чтобы завтра встать снова на работы.

Когда возвратился в свой дом отец Кати Богдановой с находкой своей дочери, она спала уже сладким сном, набродившись днем по речке Мельковке, даже не подозревая что ожидает ее на утро.

IV

А утром весть про золото, пока спала эта девочка, уже разошлась по всему Верх-Нейвинскому заводу. „Золото открылось в речке Мельковке“, — говорили рабочие; „золото, сказывают, нашли на заводе“, и весть эта живо дошла до управляющего завода, который плавил тут чугун для хозяина своего — купца Демидова и был владыкой завода и крепостных рабочих.

Управляющий этот был человек старого времени, строгий-престрогий, и как только услышал про золото, про Катю Богданову, живо распорядился привести к нему девочку вместе с находкой. Можно вообразить, какой переполох поднялся в доме Кати Богдановой, когда пришли туда и потребовали ее с находкой к ответу, к самому управляющему заводом, по фамилии Полузадову.

— Господи, боже мой! — только всплеснула руками мать ее у печи. Девочку подняли с постели самым бесцеремонным образом, одели ее поскорее в свеженький пестрядинный самодельный сарафанчик понаряднее, заплели ей косы и повели к управляющему, где неизвестно, что еще будет.

Чуть жива, говорят, стояла Катя Богданова перед крыльцом управляющего.

Это были самые торжественные выходы управляющего, где обычно ранним утром уже толпился разный нуждающийся рабочий народ со своими слезными просьбами, где обычно делались разные распоряжения и наказывался провинившийся.

Было много рабочего народа к этому времени; но, когда показался на крыльце управляющий, он обратился первым долгом к девочке, которая стояла позади всех.

— Эта, что ли, девочка нашла у вас какой-то камешек? — обратился он строго к своим подчиненным, указывая глазами.

Ему с поклоном доложили, что эта самая.

— Ну-ка, пусть подойдет, красавица, посмотрим мы, что она нашла в речке Мельковке? — проговорил важно управляющий, и девочку толкнули к нему чуть не под ноги.

— Покажи, что нашла? — обратился к ней управляющий, и все присутствующие невольно расступились перед Катей Богдановой, которая вспыхнула вся, очутившись на глазах управляющего, и словно застыла от этого на месте.

Но Катя живо оправилась от первого смущения; смело подошла к самому крыльцу управляющего и учтиво, как ее учили дома, поклонилась. Поклонилась и тут же протянула

руку и разжала перед управляющим свой кулачонок. В кулачке ее блеснуло золото, и все заметили, что блеснули и глаза управляющего, который, повидимому, был поражен этой находкой. Он быстро спустился с крыльца, торопливо взял блестящий, теперь уже очищенный от темного налета, как чистое золото, камешек и взвесил его на руке.

Перед ним, несомненно, было самородное золото, но недаром он был управляющим Демидова, чтобы тут же обнаружить свою радость. Он живо, как хитрый, осторожный человек, сообразил, что донесись весть о находке этой до Петербурга,—отберет казна дачу его хозяина под добычу золота и конец не только ему, управляющему, но и его заводу...

И быстрый в своих решениях, в досаде, что все залюбовались несомненным золотом, он живо спрятал самородок в свой жилет и строго распорядился:

— Отведите-ка ее на мою конюшню и дайте ей розог!.. Да наказать ей, чтобы отнюдь не говорила никому про находку свою и не шлялась по речке Мельковке... Услышу, что шляется,—запорою до смерти...

И прежде чем Катя Богданова поняла, в чем дело, ее подхватили какие-то жестокие руки и так в слезах, при криках ее отчаянных, зовущих на помощь, унесли ее на господские задворки...

А управляющий, как ни в чем не бывало, набросился на просителей и так раскричался, что они не знали, что делать.

Грозой, говорят, пронесся этот день для завода Верх-Нейвинского, когда пострадала за свою бесценную находку невинная девочка, и ее в беспамятстве принесли к матери которая так и упала на землю от горя.

Но ни редкая бесценная находка, ни жестокая мера

управляющего не заглушили в народе весть про золото, которое нашлось на Урале.

„Золото, золото, золото“,—заговорил рабочий народ; все уверены были, что это, действительно, было золото, все говорили, жалели эту девочку, пострадавшую за него, и скоро весть про Мельковку, Катю Богданову, про золото разнеслась по всему горнозаводскому Уралу.

И рабочий народ стал внимательней присматриваться к разноцветным камешкам, и золото скоро было открыто чуть не всюду на Урале.

СОДЕРЖАНИЕ

Константин Дмитриевич Носилов	3
Волки	5
За саранками	21
Мои первые путешествия	31
На лабазе	40
За карасями	52
Пуночки	67
Счастливая ловля	80
Дедушка Савва и его внуки	93
В Собских юртах	111
Юдик	125
Таня Логай	154
Наши „инженеры“	176
Полярная буря	193
Птичий остров	219
Клуша	233
Полярная весна	245
Суд	253
Катя Богданова	258

К. НОСИЛОВ. СЕВЕРНЫЕ РАССКАЗЫ

✱

Цена 3 руб., переплет 50 коп.

✱

Редактор-составитель *К. В. Рождественская.*

Технический редактор *Н. П. Ермаков*

Корректор *О. Д. Березина*

Обложка худ. *Ю. Иванова*

Рисунки худ. *А. Бормотова*

✱

Сдано в набор 5-V 1937 г. Подписано к печати 21/VIII 1937 г. Печатных л. 8,5. Бумажн. л. 4,25.

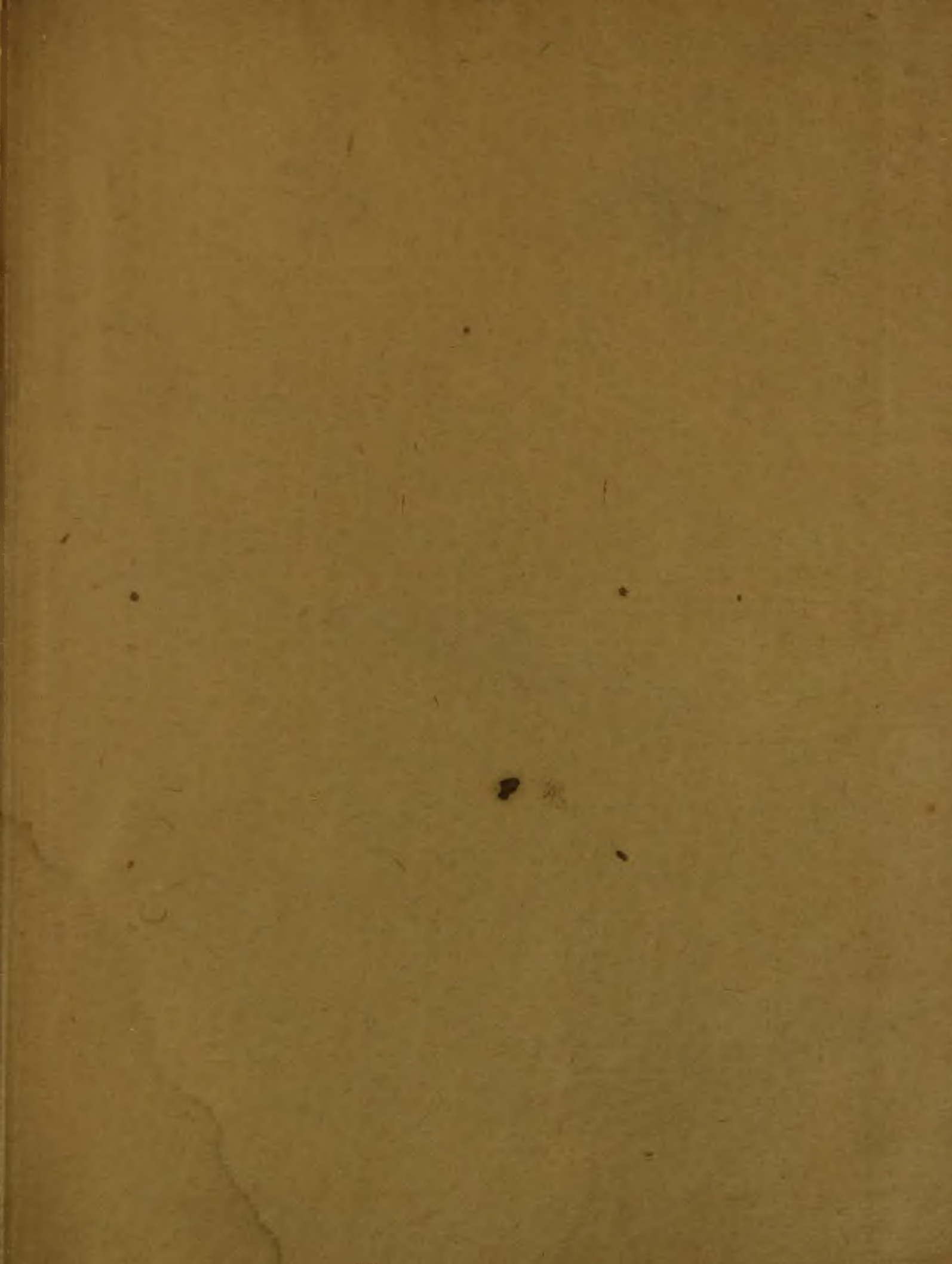
Уч. автор. л. 11,1. Бумага Камской ф-ки. Формат бум. 70×108¹/₃₂. Индекс V-Д-26. Огиз № 1372.

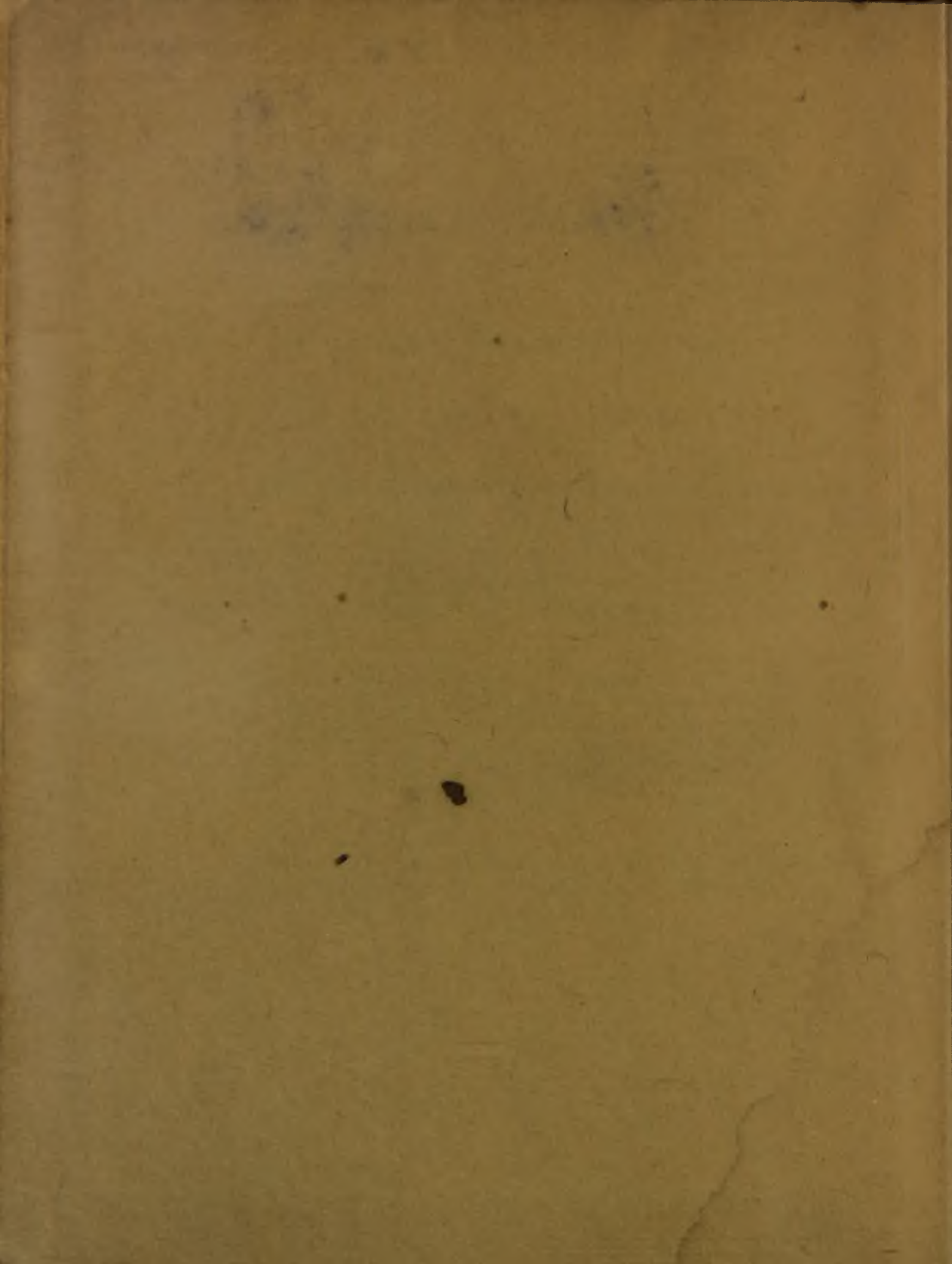
Уполномоченный Свердловбллита Б-998.

Тир. 10000.

✱

Отпечатано в типографии Огиза РСФСР треста „Полиграфкнига“, г. Свердловск, Банковский пер., 3. Заказ № 615.





6860/375

00 70



99972004

Окружная библиотека

3 руб. 50 коп.

